

ОЛЕГ СВЕШНИКОВ

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ

КНИГА ПЕРВАЯ



Олег Павлович Свешников

ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ. Книга 1

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23794313

Аннотация

Роман «Прощание славянки» о трагической судьбе Александра Башкина, которая никак не вписывается в Житие обычных людей. Он воевал в штрафном батальоне, был приговорен революционным трибуналом к смертной казни, и стал Героем Советского Союза! Немыслимая судьба! Герой прошел через страшное земное чистилище. Всю войну его приговаривают к расстрелу, то свои, то враги, он семь раз бежит из лагеря смерти. На фронте он вершит подвиг за подвигом! Александр Башкин вполне мог сдаться судьбе, странствовать по свету земным призраком, спуститься в смерть, в кровавые росы, по ступеням вяземской тюрьмы. Но он сумел выжить и победить! Не дал в обиду Россию, стал ее воином, ее правдою, ее болью, ее совестью, ее честью. Воин прошел через тысячи смертей и не сломился. Не дал себя расчеловечить. Преодолевал все Беды Земные! И теперь его имя гордо и на все бессмертие выбито золотыми буквами на воинском почетном мемориале на Поклонной горе в Москве. В Герое Александре Башкине, несомненно, – даже в одном человеке живет великий русский народ! Роман исполнен как

высшая, гомеровская поэзия, несет магическую силу. Каждый, кто прочитает о Герое, сам наполняется величием и мужеством, светоносным чувством любви к человеку и русскому Отечеству, слышит в себе желание жить по красоте и милосердию.

Содержание

Глава первая	7
ПРЕДСКАЗАНИЕ ПРОРИЦАТЕЛЯ, ИЛИ О ЧЕМ ДУМАЛ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ИГРАЯ ЛЮБИМОГО ВАГНЕРА?	8
Глава вторая	26
ИЗ ВЕКА В ВЕК УХОДИЛА РУСЬ НА ПОЛЕ СЕЧИ, НО НЕ ПОГИБЛА ОТ МЕЧА. ВЫЖИЛА ДЛЯ БЕССМЕРТИЯ. В ЧЕМ ЕЕ ТАЙНА?	27
Глава третья	79
ВОПРЕКИ ВОЛЕ МАТЕРИ, АЛЕКСАНДР БАШКИН УХОДИТ НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕМ	80
Глава четвертая	107
ЗАЧИСЛЕН В ТУЛЕ В КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОЛК, ПОЛК ПРАВЕДНИКОВ И ЖЕРТВЕННИКОВ	107
Глава пятая	140
ДОРОГА НА ФРОНТ БЫЛА СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ДОРОГА НА ЭШАФОТ. ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ. ПЕРВАЯ СМЕРТЬ. ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ	140

Глава первая

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПРОРИЦАТЕЛЯ, ИЛИ О ЧЕМ ДУМАЛ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ИГРАЯ ЛЮБИМОГО ВАГНЕРА?

I

В ночь на 22 июня 1941 года канцлер Германии Адольф Гитлер находился в загородной резиденции в Берхтесгадене. И долго, задумчиво играл на рояле любимого Вагнера. Он был не один. Его окружали генералы и фельдмаршалы в военных мундирах, убранных золотом, министры в строгих гражданских костюмах и их жены, одетые роскошно и со вкусом, прикрыв обнаженные плечи мехами. У входа величественно и неслышно прохаживались его телохранители Ульрих Граф и Христиан Вебер, личный адъютант штандартенфюрер СС Рихард Шульце. Вдоль стен замкнутым квадратом замерли изваянием рослые охранники из лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Стояли они в черных парадных мундирах СС, широко расставив ноги, скрестив на груди руки, гордые, непреклонные, неся во взгляде холодную жестокость, надменность

и непобедимость. Они – как сошли на землю по воле самого бога войны Ареса. Все почтительно, в благоговейном молчании слушали музыку нибелунгов.

Вождь германской нации играл совершенные произведения великого композитора – «Золото Рейна», «Валькирию», «Парсифаль». Играл искусно, исступленно, весь отдавшись музыке. Он сидел во фраке на мягком стуле, горделиво вскинув голову, отстранившись от рояля, как от пламени костра. Лицо было строгим. Глаза горели безумным огнем, черная косая челка свесилась на взмокший лоб, холеные, быстро бегающие пальцы, едва прикоснувшись к клавишам, повелительно взметывались ввысь, словно прикасались к раскаленным угольям, обжигались, слышали боль. В святейшей тишине музыка нибелунгов гремела, как окаянная. Билась о белые мраморные колонны, о стены, отделанные черным резным камнем, уносилась в распахнутое окно – в безмолвие и беспредельность гор, увенчанных девственно чистым снегом, в изумительно привольные долины с густыми, певучими травами, в таинство леса, украшенного серебром луны, как одетого в рыцарские доспехи. Играя, он никого не замечал. Жил в себе. Наедине со своими думами. Маршевая, воинственная музыка возбуждала нервы, будила сладостное ощущение силы, величие духа, приобщала к бессмертию. В эту ночь он был наравне с Богом. И ощущал себя властелином мира. Такая царственность чувств еще не посещала его.

Но вряд ли высшие чины третьего рейха, те, кто находил-

ся в салоне замка, даже отдаленно могли представить себе, о чем думал фюрер, играя классическую музыку Рихарда Вагнера. Он испытывал горчайшую тревожность и рассогласованность с собою и миром. И пытался восстановить гармонию в душе. Но необъятная тайная скорбь неотвратимо мучила его, несла и несла отчаяние и печаль. Величайший астролог двадцатого века, гордость Германии, седовласый мудрец Ханну-сен предсказал ему гибель, если он начнет войну с Россией.

Такое необычное пророчество оскорбило фюрера. И потрясло. Потрясение было равно громопадению Вселенной. Он не мог принять его правду, свою гибель. Он считал себя посланцем Бога, высшим, надзвездным, совершенством человека. Кладбищенская тишина, могильные венки, скорбный плач женщин-печальниц, вечный мрак и пустота не должны коснуться его. Он из вечности. Сама вечность. Ему подвластны мировой дух, бесконечность Вселенной, бесконечность сердца. Как может обычный землянин, человек-жрец, чья жизнь мгновение, проникнуть в тайну его жизни, его смерти? Его мировой необъятности?! Он усомнился в его ясновидении. Но снять тревожность не удавалось. Дух его жил в рабстве страдания, в рабстве страха. И вождь нации, играя Вагнера, в который раз мысленно возвращался к первой встрече с мудрым провидцем Ханнусеном, желая спасти гибнущую душу, разрушенный мир чувств, вернуть изощренный, провидческий ум, полученный от дьявола, то-

же оказавшийся в смятении.

Она произошла в старинном двухэтажном особняке на набережной Королевы Августы. Фюрер явился тайно, в сопровождении телохранителя Ульриха Графа и хауптштурмфюрера СС Альфреда Науйокса, знающего все закоулки Берлина, известного палача-гестаповца из управления государственной тайной полиции Ренгольда Гейдриха на Принц Альбрехтштрассе.

— Я начинаю битву за мировое господство,— прямо произнес вождь нации.— И хотел бы узнать о своей судьбе. Вы готовы предсказать ее?

Заглянув в книгу черной магии, задумчиво полистав ее, посмотрев в телескоп на звезды, мудрый Ханнусен отказался быть предсказателем его жизни и смерти.

— Мой фюрер,— уклончиво и вежливо произнес он.— Вы окружили себя гадалками и прорицателями, блаженными и чудотворцами. У вас есть свои Сивиллы Дельфийские. Не много ли чести для скромного ясновидящего стать пророком жизни гения?

Но фюрер настоял.

— Мне нужна правда.

— Правда? Какая? — оттягивал время прорицатель.

— Сколько мне осталось жить? Как умру? Сам по себе? Или буду убит? Сумею ли овладеть миром? Мои придворные пророки говорят о благоприятном расположении звезд. Но я мучим сомнениями! Не простое любопытство привело к

вам, а боль и молитвенный страх за судьбу Германии.

Таинственным взмахом руки Ханнусен зажег свечи. Бросил в кипящую чашу в форме паука зелье. И стал вызывать духов, шептать заклинание. Затем поднес пламя к иконе с распятым Христом, под которой сидел вождь нации. Золото иконостаса померкло.

— Вас ждет насильственная смерть, мой фюрер, если вы начнете войну с Россией, — не стал уклоняться от правды мудрец.

Предсказание оскорбило канцлера. Он был поклонником учения геополитика Гаустофера о переселении душ. Верил в фатальность судьбы, черную магию. Сам общался с мировым духом. И мог мысленно бродить в царстве мертвых, как Данте, о чем поэт средневековья засвидетельствовал в «Божественной комедии». Но все земное и неземное — для простого смертного. Он единственность, из бессмертия. Разве может его коснуться тлен?

Сдерживая гнев, он спросил:

— Я не ослышался, господин Ханнусен? Меня ожидает гибель и забвение, если я поведу своих крестоносцев на великую битву с Россией за мировое господство?

— Правда, которая печалит, не повторяется, — мудро заметил прорицатель.

Высокий гость мрачно помолчал.

— Могу я избежать ее?

— Гибель?

— Битву? И обмануть судьбу?

— Нет, мой фюрер. Не победив страну варваров, вам не стать властелином мира. Рано или поздно вы начнете крестовый поход на Восток. Войны не избежать, как не избежать смерти. Россия – ваш рок. Гитлер зловеще улыбнулся.

— Я вижу, ты смел и правдив. Казнь на гильотине не страшит тебя. Надо полагать, ты предвидишь свою судьбу. Твой дар ясновидца достоин похвалы. Но раз ты сумел проникнуть в тайну моей жизни и смерти, то скажи, когда я начну войну с Россией?

— На два дня раньше Наполеона.

— Именно? – попросил уточнить великий германец.

— 22 июня, мой фюрер. Такое же расположение звезд легло и у великого Нострадамуса. С этого времени и начнется роковой отсчет вашей гибели.

— Когда он закончится?

— На пятьдесят седьмом году вашего земного пребывания.

— Но разве не в моей власти изменить срок нападения на страну варваров? И разладить во Вселенной ход и исход моей жизни и смерти?

— Ваша власть безгранична, мой фюрер. Вам покорится Европа. Благословит на бессмертие История. Достань вам времени, вы покорили бы Вселенную. Ваш гений велик и безмерен. Но войну с Россией вы начнете так, как указано в небесных святцах.

— Моя судьба предсказана высшими силами?

— Да, мой фюрер. Целомудренно счастливы те, кто не верит в судьбу. Но в мире не существует ничего случайного. Все наши жизни вписаны в мировое пространство. Мы — люди земли, те же звезды Вселенной, только ожившие. У каждого свой удел, свой срок сгорания. Мы — единственность, но все связаны с мировым духом. Безусловно, одиноко живущим трудно представить, что все земляне имеют свою небесную родословную. Можно ли знать по отдельности миллиарды душ? Человек — загадка, жизнь его — мгновение во времени и пространстве. Но это так! Мы все живем по законам высшего миропорядка. И то, что должно случиться, то случится. Как бы человек ни пытался обмануть судьбу, предсказанную ему небесными богами.

Выслушав, Гитлер не сдержался в гневе:

— Ты лжешь, прорицатель! Никто не может знать мой последний час. Я недоступен мысли землянина. Я — мессия! Сын Бога и неба. Я сошел на землю, как Христос — спасти от распада немецкую нацию, мировую цивилизацию. Я пришел из бессмертия. И уйду в бессмертие. Мой дух вознесен в таинство Вселенной. Как можешь ты, простой смертный, предсказывать мою жизнь и мою гибель?

— Вашу судьбу предсказали звезды, мой фюрер. Я только прочитал их расположение, — смиренно отозвался прорицатель. — Еще вы желали узнать, как умрете? От пули, от бомбы, на гильотине? Вашей могилою станет пламя костра. Вы

сторите в огне. И душа ваша устремится искрою в небо. Но не достигнет его ледяных вершин, истает у земли.

— Надеюсь, я возгорю от небесного огня, от молнии? — проявил любопытство ночной гость.

— От земного. Огниво принесут славяне-руссы.

Новое пророчество ввергло великого германца в истерику. Есть ли что оскорбительнее для человека-Бога, властелина мира, чем умереть в пламени костра, который разожгут извечные враги Германии славяне-руссы? Такое даже представить немислимо. Он разразился злобными ругательствами, назвал прорицателя опасным заговорщиком, изгоем и предателем нации. И повелел без промедления отправить его к президенту народного трибунала генералу СС Роланду Фрейслеру. И казнить на гильотине.

Страдальца тут же заковали в цепи и на бронированном автомобиле доставили в тюрьме Бранденбург. Вернувшись в свои роскошные покои в замок в Оберзальцбурге, владыка судеб, так и не остыл от гнева и оскорбления, и нашел, что мгновенная гибель для лживого гадалея будет, — слишком роскошная смерть. И велел не расстреливать прорицателя-правдолюбца, а выслать в особый лагерь СС в Эстервальде; пусть поживет, убедится, что вождь Германии вечен!. Но до лагеря смерти бесстрашный прорицатель не доехал. Вельможный гестаповец Альфред Науйокс не сумел пережить нанесенное фюреру оскорбление, и в тайнстве повелел его застрелить. И он был на этапе застрелен патриотом.

II

Прошло время. Гитлер уже стал забывать о предсказании. Но, подписав 18 декабря 1940 года план «Барбаросса», нечаянно обратил внимание на то, что начинает войну с Россией именно 22 июня 1941 года, на два дня раньше Наполеона! Как раз в то время, которое было предсказано вещим мудрецом. Такое совпадение удивило его. Он в тревоге подумал: случайное? Роковое?

Его охватил мистический страх.

Неужели прав предсказатель?

Самое необъяснимое, странное в загадочной истории, которое не объять, не осмыслить даже умом гения – он несколько раз переносил сроки нападения на страну варваров. Первоначально властью диктатора повелел разгромить ее осенью 1940 года. Но с гордым бесстрашием возразил начальник штаба верховного главнокомандования фельдмаршал Вильгельм Кейтель, сумев убедить: к осени вооруженные силы Германии не будут подготовлены для нанесения внезапного и победного удара. Гитлер закатил генералам истерику, обвинил в тугодумстве и лени. Но, излившись в гнев, признал крамольные доводы неоспоримыми. И перенес время вторжения на 12 марта 1941 года. На этот раз возразил фельдмаршал Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками: «Мой фюрер, в распутицу русские дороги

поглотят не только танки Гудериана, Гота, но и всю Германию». Пришлось разъяренному фюреру снова вложить меч в ножны. И объявить крестовый поход на славянское государство на 14 мая, затем на 15 июня. В результате случилось то, что случилось. Он начал войну с Россией 22 июня 1941 года, как и предсказывал великий прорицатель.



РАЗДУМЬЕ О ЖИЗНИ И ВЕЧНОСТИ

Предчувствие смерти овладело Гитлером всерьез. Тревожные раздумья были мучительны. Неужели и правда его судьба вписана в небесные святцы? И его жизнь во власти высших сил? Цицерон в трактате «О судьбе» писал: человек зависит от судьбы, но только в земном измерении. Небесные боги лишены роковой, фатальной силы. Никто не может знать о последнем мгновении человека, зверя, птицы. Знание сделало бы жизнь на земле кошмаром! Фюреру очень хотелось верить в правду великого римлянина!

Но предсказание сбывалось!

Немыслимо!

Необъяснимо!

Неужели и правда он ступил на крестный и жертвенный путь своей гибели?

III

Кончив играть Вагнера, Гитлер, как заправский пианист, устало, безвольно опустил бело-женственные руки. И стал отрешенно смотреть в пространство, в вечность.

— Вы играли божественно, мой фюрер,— сладкоречиво произнес тучный, но подвижный Геринг в белоснежном парадном мундире маршала авиации.— Все верноподданные

восхищены вашим талантом. Гением Вагнера! Слушая его музыку, воочию видишь и великого Ницше, и его героя Зигфрида из «Песни о нибелунгах», кующего меч для врагов, и императора Священной Римской империи Генриха Шестого, отправляющего полки на завоевание славянских земель. И то, как вы под разудалую и сладостную песнь колоколов достойно въезжаете на белом коне героем-победоносцем в поверженную Москву и торжественно извещаете: Россия разгромлена. Мы – владыки мира, господя!

Фюрер медленно закрыл крышку рояля. Он был тих и задумчив. Лицо хранило небесную строгость. В облике жило величие. Казалось, лезть не коснулась его. Но вот голубоватые немигающие глаза, отливающие свинцом, взметнулись на Геринга, осветились улыбкою. Он смущенно похлопал его по плечу, обвел рассеянным, благодарным взглядом окружение. И неспешно прошел к камину, погладил бюст Бисмарка. Ночь была теплая. Жарко горели свечи. Но он слышал в себе оледенелость. И зябко протянул руки к огню. Присев на корточки, долго всматривался в багровое пламя, в котором, по предсказанию, ему предстояло сгореть. Он даже в мучительном ужасе неотвязно ощутил, как непорочно красивый, стихийно-загадочный огонь жгуче и страшно выплясывает в его самозванной гробнице, пожирая одежды, тело, мозг. И снова непрошено зашла, забила печалью тревога. Неужели и правда его могилою будет пламя из костра? И огниво присутствуют русичи? И он бесследно, бесславно исчезнет с земли,

так и не заполучив вожделенной короны властелина мира? Страшно! Окаянство печали. Неужели боги не знают: умрет он – умрет Германия! Надо же было ему, земному богу, идти к прорицателю, забираться в небо, в звезды. Но больше – в таинство своей судьбы. В земной юдоли не может быть миропорядка. Каждый живет равнодушно-бессмысленно. И умирает в одиночку. Сам по себе. Без правды воскресения и предсказания. Стоит ли мучить, печалить себя, расстраивать безысходностью? Пророчество – тоже суть бессмыслицы.

От лукавого!

Еще раз успокоив себя, Гитлер отошел к высокому венецианскому окну. Приближался тот самый рассвет, которого он ждал всю жизнь и которого теперь боялся сильнее смерти. Солнце еще не взошло, но изумительно дивная и свежая заря уже благословила розовым светом вершины гор, половодье тумана над озером, разбудила спящих лебедей. Часы в салоне замка пробили два удара! В России было четыре утра. Спокойные удары прозвучали как гром пушек. Все гости в мгновение всколыхнулись, ожили, как расколдовались. И в таинстве, в напряжении замерли. Наступила строгая, величественная тишина. Каждый знал: началась битва с варварскою Россией. И по-своему переживал историческое время.

Вождь нации тоже испытывал волнение; его мысль жила напряжением. Он посмотрел на часы, подождал, пока истает мелодия национального гимна, когда железный рыцарь в одежде паладина, поиграв мечом, спрячет его в ножны и сам

скроется в овальном окошечке, неожиданно громко произнес:

— Повторим вслед за Ницше: «Бог умер!»

Геринг расхохотался.

— Мой фюрер, вы имеете в виду Сталина или Черчилля?

— Себя, — загадочно вымолвил он; смысл сказанного был ясен только ему одному. Видя печально-мудрую озабоченность маршала, вальяжно потрепал его по щеке.— Что делать, мой Герман? Все великие венценосцы приносили себя в жертву народу.

Хозяин замка любезно пригласил гостей к банкетному столу. С изысканно вежливой готовностью засуетились церемониймейстер с золотой цепью на черном фраке, лакеи в расшитых золотом ливреях и белых перчатках стали подавать на подносах со свастикою вина, горячие закуски.

Выждав, когда все рассядутся, фюрер поправил галстук с партийным значком, взял бокал шампанского.

— Господа! Только что мои войска перешли границу варварской России. Я вверил судьбу Германии, свою судьбу великому немецкому солдату. Война началась самая жестокая, кровопролитная за всю историю человечества, какую не виделась даже ее идеологам Мольтке и Клаузевицу. Мне не столько важно разгромить русское государство и взять Москву, сколько уничтожить славянские народы.

Восточные славяне – низшая раса. Они лишены чувства

чести и достоинства, гордой любви к Отечеству и свободе, исповедуют покорность и смирение, нищенскую жизнь. Утрачена незыблемая святость устоев семьи. Сын предает отца, брат убивает брата, мать отрекается от сына, кого гонят в кандалах на Лубянку, на Соловки. Эту расу безжалостно убивал Иван Грозный, в ком текла мистическая кровь великого монгола Чингисхана; эту расу, сколько желает, убивает сын сапожника из Грузии, кремлевский диктатор Иосиф Сталин. И что нация? Защищает себя? Свою жизнь? Свое достоинство? Рукоплещет убийце! Разве это народ? Разве он имеет право на существование?

Славянская раса на пути вырождения. Своим разложением она несет гибель немецкому народу. Разве мы не вправе защитить себя? Я – мессия, я пришел на землю, подобно Христу, спасти от распада Германию! Кто может оспорить мое право уничтожить двадцать миллионов славян? Тридцать? Сто миллионов? И я уничтожу! – возвысил голос до истерики Гитлер. – Я спасу свой народ. И вознесу его. Он станет властелином мира.

Но прежде я завоюю безбрежные славянские земли, о чем вождественно мечтал еще в тюрьме в Баварии, в крепости Ландсберг, когда писал «Майн Кампф». Меня отчаянно и безмерно мучила несправедливость: почему лучший народ обречен ютиться на убогом островке земли, а откровенная низшая раса владеет бесконечными пространствами? Благо бы умели управлять ими. Не умеют! Живут, как плебеи, как

скот в хлеву. Ни красивых городов, ни дворцов, ни дорог. И вечно нищенствуют! Спрашивается, зачем неполноценной расе такие пространства, да еще с сокровищами нефти, золота, леса, птицы и зверя? Было же, когда тысячу лет назад измученная смутами Русь, пригласила варяжского князя Рюрика править ими. Мы, немцы, создали им государственность! Но русская раса не оправдала себя! Самим провидением я призван истребить ее, восстановить историческую справедливость.

Гитлер все больше взвинчивал себя.

— Отвоевав безбрежные славянские просторы, я создам на Востоке новую нордическую империю, которая по красоте и величию далеко обойдет Священную Римскую империю! Вокруг городов-замков выстрою сады-деревни, соединю лещащими зеркальными дорогами. Немцы будут жить в роскошных имениях. Славян мы обратим в рабов, в илотов. Они будут строить для господ Города солнца, пахать землю. Кто не будет представлять ценности, уничтожим на Урале в новом Освенциме. Славяне размножаются, как черви в навозной куче. Мы лишим их материнского зачатия. И со временем русская нация, беспутная, чуждая миру, изживет себя. Но семьи пока сохраним. Пусть размножаются. Молодые рабы нужны. Но жить будут за колючею проволокою, в землянках или в хлеву с хозяйскою скотиною. Они животные, им все едино. За половую связь с немкою вешать немедленно. В случае бунта, убивать без жалости. Я веду битву — расовую!

Идея о равной ценности людей — лжива и губительна! Она заполонила мир низшими расами, разложила и уничтожила классические государства Вавилон, Египет, Грецию, Рим. Это звери! Их надо убивать без милосердия! Я уничтожу славян на века! Я подарю немецкому народу Восток. И сделаю его господином мира! С нами Бог! — он небрежно вскинул ладонь к плечу.

Высшие чины третьего рейха безоглядно верили в гений фюрера, в победу. Восток непременно будет германскою Ривьерою, заселен немцами, и они на тысячи лет, под нацистским знаменем со свастикою, будут владыками мира!

Все приглашенные на банкет, едва фюрер завершил речь, молниеносно вскочили, словно взметенные бурей, выбросили правую руку вперед, истерично троекратно прокричали:

— Зиг хайль!

— Зиг хайль!

— Зиг хайль!

И сладкая музыка эта еще долго билась в каждом ликующем сердце немца-господина, в радости разбивалась о мраморные стены роскошного замка в Берхтесгадене.

Глава вторая

ИЗ ВЕКА В ВЕК УХОДИЛА РУСЬ НА ПОЛЕ СЕЧИ, НО НЕ ПОГИБЛА ОТ МЕЧА. ВЫЖИЛА ДЛЯ БЕССМЕРТИЯ. В ЧЕМ ЕЕ ТАЙНА?

I

Александр Башкин, сын пахаря Ивана Васильевича и столбовой крестьянки Марии Михайловны, что жил на Руси в деревне Пряхина на реке Мордвес, как раз и был тот славянин, кому по замыслу фюрера Германии Адольфа Гитлера предстояло быть уничтоженным в лагере смерти на Урале.

Естественно, повели бы безвинно по горестно-скорбной земле на гибель, с петлею на шее, не только его, повели бы и мать Марию Михайловну, братьев Ивана, Алексея, сестер Евдокию, Нину, Прасковью, Аннушку, зачинателя пахарского рода, деда Михаила Захаровича. Все бы в одно роковое утро, как печальники-жертвенники, по воле гестаповца, вошли бы живыми людьми в огненную печь крематория, а вылетели из трубы *искрами пламени, черным дымом*. И устремились бы в бездонность неба. Прощально покружились бы над оскорбленную русскою землею, и безыменно бы опали погасшими искрами на заснеженные просторы — остывшею

болью и скорбью.

В лучшем случае Александра могли оставить рабом, заковать в кандалы и заставить работать на немецком поле под грозные окрика надсмотрщика, оскорбительные удары бича. И он бы гнул спину на чужеземного барина, оглашал плененную Русскую Землю вечно печальным звоном цепей, бурлацкою песнею, зажав в сердце крики боли и стона. Или бы убил господина и себя, не приняв оскорбительную правду раба.

Так было бы!

Восточные славяне не вписывались в германский миропорядок в Европе. Каждому Русскому Человеку предстояло быть рабом, без молитвы и покаяния! Каждому Русскому Человеку выпадал по судьбе терновый венец безвинного мученика, где своя милая, родная Русская Земля становилась Голгофою, гибелью на все времена!

Дальше для славян все кончалось. Страшная гибель ожидала Русь святую!

II

В ту самую горестную и тревожную ночь на 22 июня 1941 года над деревнею Пряхина вознеслась сильная гроза. Черные тучи сплошь закрыли небо, молнии, как дикие, невысказанные чудовища, грозно озаряли мир, раскатистые грома, зловеще рушили небеса. Ветер мятежно, со стоном раскачивал деревья, рвал железо на крыше домов, с разбойничьим сви-

стом взметывал на реке Мордвес крутые волны и с диким воем разбивал о мрачность скалистого берега. Мария Михайловна, проснувшись, уже не могла уснуть. Вслушиваясь в разгул стихии, в пугающе раскаты грома, она невольно испытывала тревожность за сына Александра. Почему, отозваться себе не могла! Но мучил страх за сына, и мучил! Мало ли гроз гуляло над Русью? И все обходилось, не чернела душа в горько-смутной тревоге, а тут мысли, как сорвались на пиршество печали. Гроза несла и несла гибель ее сыну Александру.

Женщина поняла, не будет дальше покоя, пока не истают грозовой ливень, и не упадет последняя дождевка с ветки березы на землю. Она поднялась с постели, накинула ситцевое старомодное платье. И тихо пошла в угол к иконам, где светилась горящая лампада, кротко высвечивая лики святых. Она молилась долго, строгая и задумчивая, и все просила у Бога разогнать страх перед жизнью, ибо сама была бессильна его укротить.

Иван недовольно отодвинул штору на печке, беззлобно произнес:

— Спала бы, мать. Все встаешь и встаешь, и молишься! Скоро весь дом разбудишь.

— Не спится, Ванюшка, — смиренно наложила крестное знамение Мария Михайловна. — Досель невиданная гроза гуляет! Тучи зашли гробовые. Громы тревожные, сабельные. И молнии долго не гаснут, пожарищем озаряют небо. Над

Русью взошла беда, сынок! И та беда, — как Божья кара! Тоскою и несказанным плачем отзовется та кара в русском сердце.

— Ты, мать, злая пророчица Кассандра. Одни беды пророчествуешь. Спи! С переутомления твои тревожности. Сколько вчера сена накосили, в семь изб.

Мария Михайловна неожиданно прильнула к окну, иссекаемому молниями, сильным ливнем:

— Посмотри, Ванюшка, живо посмотри, огненный крест стоит над рекою. До неба крест! Весь из себя грозный, багровый. И непорочно, как перст Божий, отражается в кровавой реке. Разве может быть ночью багровая вода?

Иван неохотно отбросил ситцевое одеяло, неспешно подошел к окну, и долго всматривался в ночную тьму. Земля и небо как обезумели; сплошным водопадом ниспадал с неба ливень, цепко впиваясь в гуляющие ветви берез, в сенные стога, в бунтующие волны реки. Молнии высвечивали колодезный журавель. Ветер с веселою одержимостью расшатывал бадью, как играл, забавлялся. В открытую форточку с огорода приятно пахнуло полынью. На островке, на лугу пасся одиноко стреноженный конь. Он изредка ржал, потрясал мокрую от дождя головою, звенел бубенчиками на шее, как бы жаловался судьбе, прислушивался, услышит ли хозяин его печали? Но никто не шел, и он, постояв в задумчивости, с привычною смиренностью склонялся к траве. Жизнь в деревне была, как была! Загадочного огненного креста в реке,

с кроваво-багровыми отсветами, Иван так и не увидел! Хотя до боли вглядывался в тоскующую и плачущую ночь, какая пугала огненными молниями, гневными раскатами грома.

— Не зришь, что ли? — нетерпеливо спросила Мария Михайловна, посмотрев на сына. — Чего молчком живешь?

— Было знамение, мать. Стоял крест! Да не успел я его разглядеть. В грозе исчез, в свете молнии; скорее, боги вознесли обратно в небо, — слукавил Иван, не желая огорчать мать Человеческую.

Мария Михайловна робко взглянула в окно. Крест и в самом деле исчез. Вода на реке была сплошь черная, еле видимая. Но крутые грозные волны все бушевали в тревожности. И так же обреченно гibli, разбиваясь о берег. И молнии сверкали так, словно огненный дракон пытался выпрыгнуть из черных туч на русскую землю, сжечь ее, обратить в пепелище. Мать, похоже, одна осмысливала грозу, какая несла почему смерть ее сыновьям.

— Думаешь, война начнется? — прямо спросил Иван, угадав ее мрачные мысли. — О том мужики на каждом потолкуе судачат.

— Уже вошла вражья рать на Русь, сын мой, — строго произнесла женщина, перекрестившись. — Не случаен крест. Видела его, Христом заверяю, видела. *Его ангелы-хранители Руси на землю опустили, дабы известить за страшную опасность.* Завтра сам осмыслишь, когда начнет гулять с кошою злодейка-странница, выстукивая посохом жадно на по-

госте могилы отцов, дико ворочая камни, освобождая место для новых могил. Все устроятся ее, и молодой богатырь, и седовласый старец, и безвинные бабы. Заголосит деревня, исплечется слезами. И нашу избу беда не обойдет, смертями заглянет. Чувствую; *я всю землю сердцем чувствую, когда на Руси горе, когда гусельная радость.* Не слышал, как иволги на березе, скрытые ветвями, свистели-стонали? Как скотина кричала в овине, билась рогами о бревна стен? Полагаешь, с чего я так расслабилась? Смерть вашу чувствую. Смерть! Всех троих война заберет: тебя, Шурку, Алексея! Как мне одною жить?

Иван не выдержал, крепко обнял ее:

— Не то говоришь, мать. Не от разума. Конечно, война окаянность. Но ежели германец зашел, то кому защищать дом, семью, могилу отца Ивана Васильевича на кладбище в Стомне, тебя, драгоценную, деревню, нашу Русь? И почему ты уже троим, выстраиваешь саркофаг на поле битвы? Каждого там убивают? Иди, спи, — он ласково пригладил ее седеющие волосы. — Спи без тревоги, ты добрая женщина. Бог не оставит тебя в сиротстве! Жди от сыновей радости, а не гибели. И довольно! Шурку разбудим, ему по заре за плугом ходить. Шурка пахарь. Зачем ему смерть? Добром помяни его житие! Ты же заживо на погост свела! По-матерински?

— Убедил, сын, — покорно отозвалась Мария Михайловна.

— Иди, спи. И не вини, что разбудила.

Иван по любви прижал к себе мать и ловко вспрыгнул на печку, где вволю разместил себя на теплом, каменном лежище.

Мать подошла к скромному иконостасу, зажгла кадильницу; ледяная таинственная нервность, какая мучила всю ночь, отступила, но мысли-горевестницы еще тревожили. Особенно тревожили за непутевого Шурку. Грешно судить, но младший — разумом и душою, святая непорочная чистота! Стоит огненному дракону прыгнуть с небес, из черных туч, на благословенную Русь, в мгновение изловит вороного коня на выгоне и помчит на ратное поле, бросит себя в пламя! И бросит с обнаженным мечом в самую плоть безумицы-битвы!

Кто его спасет?

Только Господь, и он спасет его, зная его честь, его праведность, его любовь к Отечеству! Помолившись Богу, она даже услышала Его вселенскую милость и заступничество, Его волю и спасение, *и невольно, во благо, ощутила в душе смирение, ласковое отступление*. Безумствующие стоны отчаяния за каждого сына улеглись, умирились. Можно было ложиться спать; гроза уже не страшила ее. Но сон не шел.

Мария Михайловна присела на сундук, поправила босою ногою вздернутый половик и долго сидела так, просто, без смысла, наслаждаясь покоем, воскресшим чудесным сиянием в душе. С иконы светло и благословенно смотрел Христос. На божнице горела малиновая лампада, радуя пламе-

нем, красотою и уютом. Все несло надежду, умиротворение.

Она расстегнула пуговицы на старомодном коричневом платье. Легла в постель. Но лучше бы не ложилась. Снова пришло видение, наполнив ее ужасом, тоскующим стоном! Из грозовой, черной тучи на деревню Пряхине, надменно и обреченно, слетела лютая стрела-молния, с ликом Чингисхана. Подожгла ее. Русь тревожно забила в колокола. В неумемной печали заголосили бабы. Пожар в мгновение сжег ночь, обратил в траур, с цепкою, ужасною гибелью пошел гулять по земле. Ее Шурка, ее любимый сын Шурка, с ружьем через плечо, без ее благословения, шел один, суровый и непреклонный, призрачный, как привидение, сквозь безумие огня, горящие избы, слегка отклонившись от жаркого пламени. Шел в огнепад молний, в самый неумолимый ливень, в самую бездонность неба. И там исчезал, где мчались конники, обнажив сабли.

Мать в страхе еще успела крикнуть:

— Сын, остановись! Как без благословения матери идти на битву, где безнаказанно убивают?

Крикнула по молитве, по печали, по трауру, крикнула во всю неодолимую силу, во всю землю. Но не услышала себя. И сын ее не услышал. Мать обняла подушку и горько, страшно заплакала, не скрывая безумной жалости к сыну.

Проклиная его непослушность.

Его жертвенную обреченность.

Его смерть.

И одинаково свою.

Ее причитания, ее тихие горестные слезы обжигали печалью. Иван не выдержал, снова сел на печке.

— Мать, ты чего зашла? Прекращай, — нежно, но настойчиво попросил он. — Шурка спит, как праведник, а ты его все хоронишь и хоронишь.

— Замолчь, басурман, умом непролазный, — в строгом гневе потребовала женщина. — Не с тобою говорю, с Богом! Война громыхает. Не слышишь? И Шурка завтрева уйдет! В пожар и бездонность неба. И ты следом! Каждого из вас закрутит смерч-буря! Для смерти я вас растила? Не жалко мне вас? Когда я так слезами исходила? И что я могу перед бедою? Только поплакать! И с Господом поговорить. Вдруг и услышит мои слезы, скорбную молитву? Сбережет жизни, ваше солнечное свечение. На войне, в злой, роковой бессмыслице, вас, россиян, тьма и тьма поляжет, без исповеди, без целования креста, без прощального траурного плача женщин-горевестниц, а вы вернетесь. Через молитву и мое страдание! Почему и веду разговор с Богом за вас и за Русь. И замолчь, строптивец, не тревожь больше осудом!

Мать Человеческая умолкла. В избе повисла тишина, строгая, молитвенная, суеверная. Гроза как приблизилась. Стало невыносимо страшно слышать, как без милости, с лютым, неугомонным насилием хлестал и хлестал ливень по гулким окнам, по крыше с острым верхом, как стонала изба, и как пронзительно, истерично, по-звериному выл ветер, на-

полняя Человеческую Соборность на Руси смертельною тоскою, правдою отчаяния.

Как только гроза стихала, становилось слышно, как в безмолвии отстукивали время часы-ходики. Часы были навешаны над лубочным ковриком с белыми, плавающими в пруду лебедями, с гордо выгнутыми шеями. Ветвистые белоснежные березки склонялись к красавицам в поклоне. Все было чарующе озарено пламенем закатного солнца.

На деревне голосисто пропели петухи.

Непорочный огонек в малиновой лампаде стал сильнее метаться в страхе.

По Руси шел первый день войны.

III

Проснувшись, Александр никого не застал. Мария Михайловна, несмотря на бессонную ночь, уже истопила печь, приготовила завтрак. На кухне приятно пахло свежееиспеченным ржаным хлебом, жареною картошкой, топленым молоком. Полы чисто вымыты, выскоблены. Стол накрыт скатертью с русской вышивкою. Высился и сиял медью пузатый самовар, вычищенный, как учила бабушка Арина, ягодами бузины. В короне его уютно разместился заварной чайник, весело разрисованный петушками; от него исходил густой и пряный запах распаренных листьев смородины. Рядом лежала записка, написанная торопливою рукою матери. Она пи-

сала: «Милый сынок, будить к заутрене не стали, земля мокрая, пахать рано. Ешь картошку с мясом, она в чугушке. В печи – молоко и пироги с вареньем. Я с дочурками пасу коров. На закате солнца все соберемся. Корм для скотины я замесила. Ни о чем себя не тревожь, копи силы для поездки на учение в Тулу». Записка была необычная. Невольно тревожила волнение. В каждом слове затаенно и гибельно слышался крик материнской любви! И крик траура с погоста! Словно она по молитве, от Бога, увидела его смерть, его могилу, услышав в грозу печальные крики птиц в поднебесье, птиц-горевестниц. Странно, странно! Откуда с такую невыразимую болью разбудилась ее тоска о сыне? Откуда могла возникнуть такая нежность и такая ласковость в ее записке? И такая обреченность? Он любит мать, чувствует каждое движение ее сердца, ее ревнивую, требовательную и жертвенную любовь.

Но теперь откуда все?

Покушав, юноша вышел на крыльцо. И долго любовался земною красотой. Дождик еще разбрасывал жемчужную россыпь. Ветер, нагулявшись вволю за ночь, был ленив и неусерден, с трудом растаскивал громаду туч, но вдали уже голубело небо. Лучи солнца светло и радостно освещали дочиста вымытые верх-острые крыши домов, помолодевшую землю, необозримые поля с зеленым разливом колосьев, бегущую речку, по берегам которой росли грустные, молчаливые ивы, живые, веселые березы, а на взгорье неунываю-

щие, гордые неиссякаемую любовью к жизни – царица-крапива, крепыши-лопухи, по-петушиному задиристый репейник. Сколько их не выкашивала звонкая коса, не вымораживала зима, они, едва растает снег, схлынет половодьем, вновь, требовательно, поднимаются по взгорьям рошицами.

В бурьяне пела овсянка. Не во славу ли их завидного жизнелюбия?

Жизнь после грозы преображалась. Над рекою поднялась радуга. И весь мир царственно покрасивел. Дождь, солнце, радуга в одночасье — классическое творение природы. Лучше ею ничего не создано. Эта чарующая, заманчивая, целомудренная власть красоты будет мучить человеческое сердце вечно. В небе зависли жаворонки, закружились с переливчатым свистом стрижи, то игриво взвиваясь к облакам, то пугающе низко припадая к земле. Над полем цепко парил ястреб-конюк, высматривая храброго зайчонка, покинувшего лес поживиться плодами колосьев.

Из вдовьей избы вышла красавица Анята в ситцевом платье, красной косынке, с достоинством спустилась к реке, неся на коромысле ведра-кадушки с выстиранным бельем. Ступив на камень, подоткнула подол, соблазнительно обнажила полные ноги, стала наотмашь, как играя, бить вальком по расстеленной полотняной простыне.

Земля нагрелась, и с луга пряно пахло медуницею, медовым сеном, с огорода ветер доносил горьковатый запах полыни и конопли.

Александр, вволю насмотревшись, присел на крылечко. Как все же прекрасен мир, если научился любить его, чувствовать красоту. Она и в радуге, и в капле дождя, что по печали опадает с куста малины, и в колосе ржи, и в летящей паутине, и даже в единственно солнечной соломинке из стога. Прикоснешься сердцем, и сладко-сладко тревожится в тебе человеческое.

Юноша жил в дарованном мире красоты. И даже отдаленно не мог представить себе, что по Его Земле уже катила в диком, варварском безумии колесница бога войны Ареса, где в страшном-престрашном разгуле рвали «мессершмиты-крестonosцы» на траурные ленты голубое небо Руси! В разрыве бомб, дыму гибели города в пожарище, благословенные поля с рожью, где колосья мучительно и безвинно изгибались в прощальном поклоне в подбегающем пламени, кровью окрашивались реки, а над исконною, праведною Русью в страшной траурной печали до неба стоял надрывный плач женщин и детей, кого убивали и гнали в рабство!

Еще мгновение и заплачет вдова среди русского поля, одетая во все черное, вся поседевшая за одну горькую ночь.

Еще мгновение и с горем, невыносимую тоскою сползет по косяку двери в крестьянской избе Матерь Человеческая — с похоронкою в руке, последнею весточкою от сына.

Черная рать Адольфа Гитлера неумолимо шла завоевателем по славянской земле, засучив рукава, прижав к животу автоматы, безжалостно сея вокруг смерть, и пьяно-безумны-

ми голосами распевали песню Хорста Весселя. Смысл ее был по-разбойничьи прост и варварски гениален: убей славянина, он низшая раса, мы господа мира! Нет прекраснее зрелища, как видеть врага с мечом в сердце, его глаза, наполненные слезами и как безудержно, радостно льется кровь из его растревоженных ран.

Истребляй, истребляй славянскую расу!

Мы есть безжалостные потомки гуннов царя Аттилы, рыцарей-крестоносцев германского императора Священной Римской империи! Мы пришли не только завоевать славянские земли, мы пришли убивать, убивать!

Вся эта суровая правда еще не раз в печали отревожит сердце

славянина-русса Александра Башкина.

IV

Трава еще не просохла, косить было рано, и Александр достал из отцовского ящика шило, суровые нитки, застывшую смолу и стал с усердием сапожника чинить латаные-перелатаные ботинки, какие развалились, а надо было ехать на семинар в Тулу. Работая, слушал, как сладостно пересвистываются иволги, спрятанные в листьях березы. Изредка посматривал, как важно разгуливал петух, распутив роскошно-малиновый хвост; отыскав зерно или удачно изловив червя, кто не ко времени выглянул с любопытством в мир, гостеприим-

но сзывал на пир свой гарем — неотразимо суетливых, быстрых на бег кур.

Юноша нечаянно залюбовался, увидев, как со стороны Дьяконова по старинному большаку, горделиво и осанисто неслись вороные, запряженные в дрожки; их сильно раскачивало, вышибало из колеи, опасно заносило на каждом повороте, и чуть было не опрокидывало в поле, где колосились овсы. Но хозяин все гнал и гнал лошадей, ударяя кнутом, взнуздывая вожжами. Юноша встревожился: «Не пожар ли где? Так только от несчастья мчат!»

У избы, где жили Башкины, дрожки остановились. С кожаного сиденья легко спрыгнул Михаил Осипович Доронин, председатель соседнего колхоза, друг отца и семьи. С лица суховатый, стройный, всегда одетый чисто и опрятно, собранный, он вызывал невольное уважение. Но на этот раз был необыкновенно встревожен.

Торопливо поздоровавшись за руку, спросил:

— Мать дома?

— На пастбище, коров пасет.

— Пусть вечером придет в клуб. Надо сообща погутарить о сдаче излишков хлеба и мяса. Война, Шура. Война! В двенадцать часов будут передавать по радио правительственное сообщение. Выступит Молотов. — Глаза его стали печальными. — Как узнал, смертельная тоска взяла. Даже выпил. От века не пил, и не сдержался. Обожгло ощущение: призовут. И погибну! Не себя жалко. Жену Евдокию. И дочь Ка-

питолину. Чего ей? Тринадцать лет! Как станут жить, получив похоронку?

Он неожиданно, с тоскою ударил ладонью о ладонь, и повел хоровод около жердяной изгороди, разгоняя неисправимо суетливых кур, грузно гуляющих уток, разбрызгивая хромовыми сапогами дождевые лужицы, подминая лопухи и крапиву с ожерельями росы. От его пляски веяло страхом, жутью. Словно он на осиротевшей земле один на один с Вечностью последним из землян отплясывал танец смерти.

С подсвистом вывел:

Эх, Москва, моя Москва,

золотые маковки.

Покатилась голова

коришунам на лакомки.

Девочку Капиталину юноша знал, она водила дружбу с его сестрами Ниною и Аннушкою, и часто являлась в гости. Он любил ее. Ее лик принцессы-россиянки он пронесет через все битвы. Вернувшись, назовет ее женою.

В двенадцать часов дня 22 июня вся деревня собралась у радио. Вместе со всеми, внимательно и с тревогою слушал Александр Башкин чеканные слова Вячеслава Михайловича Молотова. Он строго и с печалью говорил о вероломном нападении немецко-фашистских войск на Советский Союз,

гневно осуждал Гитлера, призвал народ к единству, без промедления вступать в смертельную схватку с врагом.

Известие потрясло Александра. Войну ждали, чувствовали исподволь. Суровыми и собранными ходили пряхинские мужики. Молчаливо доставали вышитые кисеты с крутым самосадом, в раздумье закручивали сигарки, сладостно затягивались, тревожно начинали обсуждать житие-бытие.

— Как думаешь, Елизарыч, зайдет немец?

— Летось заявится, — без задумки отвечал самый мудрый мужик на деревне Илья Елизарович Меньшиков. — Земля наша привечает, неслыханные богатства. Немец и империю создал для разбоя. Как не порадует? Святотатственно живет, без Христа! Александр, сын Ярослава Мудрого, свирепо побил рогатого крестоносца на Чудском озере за Русь! Долго Гансы раны зализывали. Похоже, отлежались. Зазвенели мечами! Пока чудище рогатиною не придавишь, немец долго будет ходить на Русь, лить кровь, сеять смерть.

Мужики задумчиво, по скорби раскуривали сигарки. Тревогою горели маленькие костерки в ночи.

Реже на деревне стали гулять свадьбы, и еще реже с забубенною веселостью разъезжали по дворам хмельные сваты. Россиянки, собираясь соборно на девичники, перестали петь удалые песни. Кажется, не так звонко и удало играла по вечерам в березовой рощице у реки тульская гармонь Алексея Рогалина, хотя нарядные девицы-красавицы и забойные вдовы танцевали кадрили и русского с прежним задором, весе-

ло размахивая косынками, громко и пронзительно пели ча-
стушки.

Но отчаяние жило.

Жило ожидание грозы. И все же война пришла неожидан-
но и словно рассекла отлаженную жизнь надвое ударом ме-
ча!

Мир добра и красоты опал.

Земля качнулась.

Что делать, как быть, Александр Башкин уже знал. Ко-
нечно, он должен быть на острие, на разломе. А где еще?
Только там, где бомбят его русские города, льется кровь, где
по его земле грохочут гусеницами танки с черными креста-
ми, щедро раздаривая россиянам страдание и смерть, пре-
вращая пашни и пахаря в могильные камни, где плач и го-
рестный стон женщин стоят в печали до неба. Где же еще?
Разве есть выбор? Но возьмут ли? Он еще молод. Восемна-
дцать лет. Возраст непризывной. Значит, он пойдет добро-
вольцем!

В избе было душно. Он выключил радио и вышел в сад,
прошел напрямую по зеленой конопле, которая обдала его
горьковато-пряным запахом, к любимой яблоне в дальнем
углу у жердяной ограды. И прислонился к ее ветвям лицом,
стремясь унять жестокие стуки сердца, до боли горящие ще-
ки. Рядом взбалмошно закудаhtала курица, испуганно выбе-
жав из кустов малины, взлетела на жердь, спрыгнула и понес-
лась, раскидывая крылья, по околице на большак. Но Алек-

сандр уже ничего не слышал вокруг. Он жил войною, своими мыслями. И, прежде всего, подумал о матери. Только теперь он в полной мере осознал, насколько она мудра, насколько чутко ее сердце, осознал ее боль и тревогу, ее затаенный мученический крик к сыну. Она первая, если не в России, то в Пряхине своим провидческим зрением увидела огненно-грозовое таинство, идущее, крутящееся в диком, гибельном вихре на краю Русской земли, и поняла: началась война. Война – это смерть. Это бесконечные могилы с крестами, звездами на острие надгробий и обелисков и просто безо всего. И сын ее, будет ли убит на безумно-жестокой битве, будет ли оскорблен смертью или не будет, но сердце матери само по себе вздрогнуло в страхе, наполнилось тоскою и страданием. Отсюда она услышала стоны птиц, испуганно взлетающих в поднебесье из горящей ржи с обгоревшими крыльями, от гнезд детей, раздавленных гусеницами танков. Отсюда в ее записке, оставленной на столе, и была слышна ее затаенная, мучительная любовь к сыну.

Разлука может согнуть ее.

Тоска убить.

Как же быть, мама?

Пошлешь ли сына на смерть, на битву с врагом, что посягнул на Русь святую? Станешь ли упорствовать, если сам проявит желание идти на фронт, не дожидаясь своего времени? Наверное, пошлет! Мать строга, но справедлива. Повелительно несет в себе совесть и разумность. За ум ее зовут

Марфа Посадница. Матерь не может не осмыслить: кто еще отправится защищать Русскую землю, если не ее сын? Только он, Александр! Его друг Леонид Ульянов, его приятели Сережа Елизаров, Михаил Меньшиков, Николай Копылов. Те, кто по чести любят Отечество, свою землю, саму жизнь.

Прощаясь, она прошепчет молитву. И с чистым, гордым сердцем, с непорочно-светлыми надеждами, как мать России, благословит его на битву, осенив крестным знаменем. Но как потом сама? Не упадет ли распятым на землю от разрыва сердца? Не обратится ли в черную птицу, сгорев, без воскресения, от небесного огня, зажав в себе и мучительный крик, и мучительный стон в страдании по сыну? Не опечалит ли своею смертью его и русскую землю? Не окажется ли у могилы раньше, чем он?

Мать велика в печали, в жертвенной красоте души. В своей обреченности. Ее жертвенная, целомудренная тоска по сыну беспредельна, не поддается осмыслению. И может вознести мать на погост, на Голгофу.

Он, несомненно, несомненно, не осмелится бросить вызов матери, не осмелится, без ее благословения, разогнать краснозвездную тачанку на фронт! Он, несомненно, не Пилат матери! И не сможет быть Пилатом! Даже по мысли, по чувству, даже в таинстве! Он и мать это едино. Он очень любит мать Человеческую.

Но и сама Мария Михайловна не даст себя в обиду! Она строга, повелительно строга, если насилуют ее волю, разру-

шают отлаженный миропорядок в душе. Земля есть молитва дисциплине! И жизнь, и человек есть тоже молитва дисциплине! Только суетность живет в Короне Сатаны, где может рухнуть все, и даже Отечество, и даже мироздание, обольстись ее свободой! То есть, моли, не моли, а стоит сыну сбежать добровольцем, на ратное поле, и не надо размышлять, — в мгновение мать отречется от сына! В мгновение изгонит из сердца, отчего дома! Она все может! Она Мать Человеческая! И любит Александра! Любовь и ненависть — до смерти неразлучные родные сестры.

И в то же время, как оставить Россию в беде? В тоске и боли надорвется сердце!

Но как разлуку обернуть в добро?

Печаль в радость?

Как, прощаясь, оградить мать от страха и горя?

Не принести гибельную боль?

Расставание может быть последним. Не на праздник Ивана Купала отправляется с девушками за околицу, жечь костры, где по реке Мордвес поплывут, покачиваясь на волне, ромашковые венки любви, в поиске жениха, а отправляется на битву, под пули, под венки скорби, какие могут положить на его братскую могилу.

Как быть? Скажите, Люди?

Александр слышал в себе Россию, ее печаль, ее горе, ее боль, ее смерть.

Александр слышал в себе и мать Человеческую. Ее боль.

Ее страдание. Ее смерть.

Пришла ночь. Но и ночью не было покоя. Бесконечно тревожили мучительные раздумья писать заявление в военкомат, дабы отправили добровольцем на фронт? Или обождать? Оставить мать сиротою? С бедою наедине? Без правды его возвращения? В петле отчаяния? Или не оставить? Разрывать родственную связь? Или дожидаться благословения?

Он не выдержал, поднялся с постели и стал в раздумье ходить по горнице, боясь наступить на скрипучую половицу. Иван отодвинул занавеску на печи, с раздражением выговорил:

— Не дом, а замок с бродячими призраками! Вчерась мать всю ночь ходила, молилась, спать не давала, теперь Шурка. Очумели вы? Я на вырубке горбатился, дров три воза доставил! Имею я право отдохнуть?

— Замолчи, басурман! — повелительно остановила его Мария Михайловна. — Не видишь, мучается человек? Каждым нервом! Развоевался, воевода.

Александр не пожелал слушать перебранку, вышел на крыльцо. И прикрыл ладонями лицо; было горько.

В избе возникла тишина. В темноте, в свете одинокой свечи она казалась пугающе таинственной, бесконечно тревожной.

Мария Михайловна первую вскрыла свою скорбь:

— Шурка завтра на фронт уходит.

— Какой ему фронт? Одумайся! Он еще годами не вызрел.

— Он сердцем вызрел. И любит Отечество. Не возьмут, сам сбежит. Никого не слушает. Он бунтарь чище, чем ты. И упрямства не занимать. Упряма, как святой старец Аввакум. Слышал про такого мученика за веру? Нет? Значимо, не надо, раз Господь знанием не сподобил.

Мать накинула на плечи жакетку и вышла через узкие сени на крыльцо к сыну. Поежившись от прохлады, тихо спросила:

— Ну, говори, о чем печалишься, почему не спишь?

— Не спится, мама, — уклонился от правды Александр.

— Почему не спится? — потребовала ее обнажить Мария Михайловна.

— Душно в избе.

Мать внимательно посмотрела:

— Смерти ищешь?

— С чего взяла?

— По глазам вижу. Глаза у тебя добрые и умные, как у отца. И одинаково стыдливые, когда лгут.

— Война опустилась саваном, мама. Враг топчет мою Русь. Вижу кресты и кресты. Вот и не спится, — честно признался сын.

— Ближе к правде, Шура, — задумчиво покивала головою женщина. — О фронте думаешь? Своеручно к гибели себя хочешь приговорить?

— Почему к гибели?

— Знаю, что судачу! Не перечь, — в гневе потребовала мать. — Оставь свои задумки. *Уйдешь раньше времени, добровольцем, сразит пуля.* Я вижу! Я через время твою жизнь и смерть вижу! Через тьму и пространство! Я вижу ту пулю в огненном зареве, какое ласкает небо, — и как летит и как сразит тебя. Наповал! И о матери на прощание не вспомнишь. Дождешься срока, призовут по чести. Все битвы пройдешь невредимым. Разумеешь о чем гутарю?

Юноша с усилием ответил:

— Разумею, мама.

— Вот так, по покою, и странствуй мыслями. Сам в безвременье соберешься, не пуцу! Такова моя материнская воля! Ослушаешься ее, сбежишь, в Пряхино не возвращайся. Не признаю как сына! И как воина Руси! Блуди, где хочешь! Угодишь в огонь, в могилу, туда, значимо, и дорога! Вы, молодые, как звери, смерти не чувствуете. Я мать Человеческая, я ее чувствую, чувствую! Ты мой плод. Засохла яблонька, отпал и плод. Вникаешь? Ты не просто взял и ушел на фронт. Ты вылетел птицею. Моим сердцем. Я осталась одна, в пустоте. В сиротливости. Ты стал моим сердцем! Забрал его! И улетел! Тебя подбили выстрелом! Упала и я! На твою могилу! Христовым распятым, в стоне и крике. Так что оставь удадь забубенную. Еще навоюешься, война будет долгая.

— Откуда знаешь? — с надеждою поинтересовался Алек-

сандр.

— Я все знаю, сын. Нет ничего умнее, чем материнское сердце, ибо мать имеет душевную связь с богами земли и неба. Почему и слышит праздник жизни, праздник смерти. Стоит помолиться в терпении, и мне является правда земного бытия.

Помнишь, мы с дочками коров пасли на лугу? Так вот, огляделась я вокруг и увидела, как в зелени купаются березы, поют овсянки, как любо живет муравейник, и суетливые, трудолюбивые жители его тянут то хворостинку, то мушку в свое святилище. И откровенно порадовалась: все в мире живет в ладу и согласии, один человек в размирье. И кто толкнул взглянуть на небо. Прямо в сердце толкнул. И увидела там, где было солнце, камень из пламени. И пошел он, покатило грозно по небу, рассеивая, раскидывая вокруг себя с дьявольским упрямством огненно-сверкающий свет. Долго и пристально смотрела я вслед огненному колесу-камню, все ждала, когда истает во мгле. Не истаял! Зашел в лес и там сторел, озарив на прощание пламенем всю землю, как окрасив ее кровью. И птицы несусветно застонали-заплакали в небе. И возник человеческий плач над землею. До неба стоял плач! Значимо, биться русские воины будут долго. Так известили землю ангелы-хранители, радеющие за Русь. Не сами по себе, не от земного чуда — от молитвы Христу! Я всю ночь у иконы Господа просила поведать правду.

Мария Михайловна поежилась от холодного дуновения

ветра, запахнулась в жакетку

— Верь, успеешь еще ружье на плечо навесить. Вызреешь годами, и пойдешь. Меньше будет боли. *Ослушаешься, не осилишь волю и совесть Матери Человеческой, как держательницы мира, станешь по вольнице танцевать под дудочку Сатаны, великими печальями и болью насытишь сердце. Повелительно великими печальями и болью! Весь мир примет от тебя отречение! Тоска и скорбь сожгут сердце!*

Будешь ходить по земле в Петле Черного Рока, Шура! До горького, страшного крика ощутишь сыновнюю сиротливость! И земную сиротливость! И материнское проклятье. Траурные колокола боли и печали будут лютою звонницею мучить всю жизнь, Шура! До могилы, до погоста станешь проклинать себя, что пошел на фронт вопреки материнскому слову. Нельзя разрушать в себе миропорядок! Нельзя разрушать миропорядок отцов! Нельзя разрушать вольницею родство с Русью! Нельзя жить там, где гуляет Сатана в Короне, там во все времена шествуют Змеями — распад и разлом, и Души Человека, и Души Земли, и Души Мироздания!

Она внимательно посмотрела:

— Вникаешь, о чем гутарю+? От Бога правда! От неба! *Была бы еще жизнь, мог бы проверить Его правду! И мою! Все бы сошлось, Шура, один к одному!* Так и свершится, если наказ матери порушишь!

Мать провидица, живет по мудрости. Возражать было бессмысленно. Часто сходилось так, как предсказывала.

Но сын возразил:

— Ты, мама, знатная кудесница! Я принимаю твои печали.

Но твоя ревнивая любовь может свести с ума.

Мария Михайловна нахмурилась:

— Значимо, не вник в вещее суждение? Зазря я с сыном на порожке судачила?

Александр обнял ее. И тихо подумал: в тревожном ли пророчестве дело? Гораздо серьезнее не его смерть, не его обещанные дьявольские были, а скорбь матери.

— Я попробую, мама, — смиренно произнес сын.

— Что попробуешь?

— Правильно понять твою печаль и мудрость.

— Зачем глаза прячешь? Стыдно, что лукавишь? Кого обмануть хочешь? Меня? Себя?

— Себя, мама, — задумчиво отозвался юноша.

Мария Михайловна вошла в гнев:

— Значимо, не покоришься воле? Не расколосился еще разумом? Не вошел в мою печаль-тревогу? По-своему решил поступить? Смотри, прокляну. Отрекусь!

Александр поцеловал ее в щеку, с любовью прижал к себе:

— На сеновале прилягу. Верно, душно в избе.

Мать холодно и пытливо посмотрела. В ее глазах метелью загуляли, заголосили страхи, словно сын уже уходил не на повети, а на фронт! Она испытала боль и даже попыталась задержать его, но вскоре подумала, пусть побудет в одиночестве. Скорее осмыслит вещее слово матери, укротит, усми-

рит себя.

Александр приставил к стене лестницу, поднялся на чердак.

Здесь лежало сухое сено. Он снял с гвоздя фуфайку, постелил на нее и лег, заложив руки за голову. В щель крыши светил месяц, свет его был холоден. Но созвездие Ориона, чудесная звезда Сириус, никогда не покидающие Пряхино, саму Русь, светили с нежностью, несли душе доброе раздумье, успокоенность. Ночь была бестревожная. В конюшне мирно жевали овес лошади Левитан и Бубенчик. Из свиного закутка изредка с ветром доносились приятные сонные свиные всхлипы, солоноватые запахи навоза. В углу без усталости верещал кузнечик. Тут же был куриный насест. Но кур были только избранные, самые смелые. На высоту, в окаймленную темь, на ночлег не каждая птица рискнет взлететь. Увидев незваного человека, куры всполошились, испуганно, со сна закудахтали, но гость ничем не грозил, не гнал, и они успокоились, спрятали голову под крыло, уснули.

V

Александр же уснуть не мог. Вспомнился любимый дедушка по матери Михаил Захарович Вдовина, в свое время был он первым богачом, вольнодумцем и книгочеем на деревне Пряхино, чтит старину и историю России. Шура еще мальчиком навещал его. Благие были вечера. Обычно встре-

чались по субботам, когда хозяин дома возвращался из бани, щедро неся душевную доброту, запахи березового веника, клубничного мыла, крепкого табака.

Мальчик поджидал его, робко, стеснительно присев на сундук. Увидев внука, он в радости брал его в охапку, несколько раз подкидывал к потолку. Держал на руках и крепко целовал в губы, щекоча окладистой, распаренною бородою.

— Говоришь, заждался? Извини, братец. Ну, стрекочи к столу!

На длинном столе, накрытом белою плотною скатертью с бахромою, уже стояли самовар, причудливая бутылка с вином, неисчислимое кушанье. Михаил Захарович почтительно угощал внука конфетами, пшеничными пирогами с вареньем. Он тоже сердцем привязался к мальчику, и не только за родственную кровь. Ему нравилось, что Шура рос любопытным, не по возрасту серьезным. Умел внимательно слушать чтение книг: «Королевич Бова», «Еруслан Лазаревич», «Волшебный рог Оберона». Мог по красоте, по чувству сопереживать рыцарю, кто с мечом в руке отважно, жертвенно защищал честь и свободу Отечества!

Сам Михаил Захарович был сыном крепостного крестьянина, и был от Бога наделен талантом пахаря, как Микула Селянинович, кто почитался на Руси мифическим богом Плуга и Хлебного Колоса; он знатно пахал и сеял, а со временем вошли в соборность дети, тоже от зари до зари знат-

но пахали и сеяли. Зерно баржами возили на продажу, на ярмарку в Нижний Новгород, появилась копеечка, появился достаток.

На деревне его почитали как родовитого великоросса. Сложения плотного, грудь крутая, медвежья, руки крепкие, сильные, без усилия гнули подкову. Во всем облике жила сила Ильи Муромца. По виду суров и строг, но доброту нес в себе необыкновенную, смеялся от души, верил в Бога, курил трубку из табака-самосада, читал по-славянски. Советская власть любовью не изошла к великому пахарю земли Русской, гнала на погост, на Голгофу, но ему удалось избежать воли Пилата и казни на распятые, он выжил, *Михаил Вдовин прожил девяносто шесть лет.*

Михаил Захарович уже знал, зачем пришел внук. Выпив после бани стакан водки, закусив курицею, он пододвигал к себе чашку с крепким чаем, начинал общение:

— Ну, внучек, скажи, кого ты больше любишь?

— Лошадей, деда.

— Знаешь почему? Твои далекие предки были кочевники! Интересно тебе знать, на какой земле живешь, кто твой народ? Откуда он? Чем занимался тысячи и тысячи лет?

— Конечно, деда.

— Похвально, Шура. Что ж, слушай! И он начинал сказ о Руси великой.

— Предки твои, внучек, с вековых времен населяли привольные степи между Черным морем и Днепром. Тысячи

и тысячи лет вели кочевую жизнь, с неистово загадочным упрямством передвигались табором от стойбища к стойбищу и в жару, и в холодную осеннюю ночь, и в снежные ветровые бури, оглашая целомудренную тишину бесконечного пространства табунным топотом коней, тяжелым скрипом тележных колес, безумолчным мычанием коров. Жили в кибитке, родовыми общинами. Вокруг стойбища распахивали землю, растили хлеб, на крутоярах пасли скот, охотились с копьем на зверя и птицу. Молились богу Перуну, он же извещал вождя, богатство на исходе, зверь на излете, пора менять стоянку. И скитальцы-кочевники Руси шли дальше в поиске сада Эдем.

В то древнее, глубинное время кочевых племен в степи было тьма-тьмуца, были и знатные, как скифы, хазары. Все бились, как жертвенники-гладиаторы Римского Колизея, не на жизнь, а на смерть. Победители не знали жалости, с варварскою жестокостью воину-пленнику слепили каленым железом глаза, живьем закапывали в землю, в бурлящие реки бросали детей, без стыда насиловали женщин. Ограбленные кибитки и городища сжигали. Сильного воина-пленника угоняли в рабство, следом гнали покорные табуны лошадей.

Мальчик слушает внимательно. В душе просыпается жалость. Он в любопытстве спрашивает:

- И мы так жили?
- В смысле?
- Как разбойники?

— Нет, внучек. Древняя Русь не жила грабежами и насилем. Мы не были разбойниками! Мы были пахари, и плугом расширяли русские пространства! Мечом мы только защищали свою землю.

Конечно, мы тоже были варварами, жили по диким законам: если умирал вождь, убивали его жен и наложниц, веровали в таинственную связь человека с природою, поклонялись языческим идолам: Дажьбогу, богу Солнца,

Перуну, богу грозы,

Велесу, богу скота,

Берегине, богине земли и плодородия, а в засушье безжалостно, под костры, неурожайные времена приносили им в жертву самую красивую и невинную девушку-россиянку. Несли ее в саване, и тут же жгли костры, водили устрашающие хороводы

И все же мы были необычным племенем, жили в нимбе доброты и милосердия, отвергали вероломство в битве с врагом, лютую бесчеловечность к пленному, не обращали в раба, чем до изумления удивляли цивилизованный мир. И даже дружбу водили со скифами; наши россиянки были принцессами Земного Царствия, беловолосые, голубоглазые, с шелковистыми косами! Скифы за жену россиянку давали табун лошадей!

Наши предки любили волю, свободу, резвого коня, были охочи до пиров и игрищ. Веками вбирали мудрость и правду, желая осмыслить себя как народ. Стремилась к бессмер-

тию, пытались создать великую державу, но воинственные племена разрушали благие намерения. Руссам приходилось все дальше уходить от Черного моря, от Дикого поля, в густые леса, в недосыгаемость. И вскоре, по Воле Провидения, по берегам рек Днепра и Роси, Русь обрела родину, свою государственность. Мастеровые возвели города-крепости: златоглавый Киев, Суздаль, Ярославль, Полоцк, Новгород. Но мира не получилось.

Михаил Захарович вдумчиво раскурил трубку:

— Мы с тобою, внучек, битвы за Русь уже обсказывали. Ты какого князя полюбил? Игоря Святославовича? Или Божу?

— Вожу, деда!

— Еще про него ведать?

— Он истинный русс!

— Вижу, по жизни атаманом будешь.

— Почему?

— К былинным людям душа тянется.

— Он из легенды?

— Из правды. Как ты. Как я. Он самая-самая правда Руси! И ты можешь быть гордою правдою Руси, как Божа, и остаться в памяти народа.

— Я? — востепенулся мальчик.

— Вполне, внучек, — благодушно отозвался Михаил Захарович. — Тебе уже девять лет, подрастешь, и тоже можешь выйти с мечом на свою Куликовскую битву, защищать Русь, как князь Божа. Твое Время, Время Воина, может быть, уже

и зреет там, где Сатана изыскивает Поле Битвы с Русью.

И нет ничего удивительного, внучек. Русь и руссы только осели родовою общиною на реке Россь, еще не успели выжечь лес и распахать землю, выкопать защитные рвы, выстроить бревенчатые жилища с круглыми оконцами, крепость с Кремлем и высокими башнями, огородить частоколом, как пошли-покатили жестокие битвы за свободу Отечества! Кто только не шел на Русскую Землю, не жег ее, не грабил, не топтал в злобе копытами коней, не пытался поработить. Шли битвы с половцами, печенегами, иудами-хазарами, скифами, черными клобуками, викингами из Швеции, и все желали уничтожить Русь, ограбить, а народ угнать в рабство! Разобраться, чем мешали? Ничем! Пожелали жить, как люди, по совести и справедливости. Плугом расширять земли, а не мечом разбойника.

Веками, веками пришлось копить силу меча!

И не зря, не зря собирали силу меча. В четвертом веке на Русь напали готы, германские племена с королем Германирихом. На площади Киева с особою тревожностью затрубили кликуны князя в большие туры рога, сзывая воинов со всех славянских земель. Воинственные готы вели битву за Мировую Корону, и уже покорили многие племена. Тревожили набегами и Священную Римскую империю! Закон разбоя суров, не выстоял, не защитил себя, гибнет твое государство, а ты становишься рабом. Теперь готы пришли завоевать Державу Руссов! И уже сеяли вокруг себя разорение

и смерть. Выбора не было! Или руссы отстоят себя и Русь в битве, сохранят свои поля и леса, реки и озера, свою державу, продолжают жизнь в бессмертие или станут рабами!

Народ руссов вполне мог исчезнуть как народ!

Исчезнуть на Голгофе, на распяты, без воскресения!

И вскоре на святое поле битвы с готами-Пилатами двинулась Русь былинная, ратная — дружины полян, древлян. Александр уже слышал о битве с германскими завоевателями. И живо представлял себе, как по берегу Росси, по лесным тропам, по степи, вздымая пыль, гордо шествуют воинственные рати. Впереди конного войска на резвом скакуне едет князь под голубым знаменем, на котором вышиты жемчугом скрещенные пики, деревянный однорогий плуг, солнце над Россью. Следом строго вышагивает пешее воинство с воеводами, и бывалые бородатые ратники, и совсем еще юноши. Воины вышагивают, щит к щиту, выставив вперед копья, за ними пращники и лучники, остальные вооружены топорами, мечами.

Сеча с воинами короля Германии Германарихом на реке Эрак была лютою, кровавою. Сшиблись в битве рать с ратью, тьма с тьмою. Досыта благословилась родная земля смертями, слезами и кровью. Тысячи русов, бесстрашных ратоборцев, сложили головы. И долго еще с берегов Днепра, Росси и Эрак грозовые ливни будут смывать в бурно текущие воды человеческую кровь, а весеннее половодье вымывать на желтые пески белые кости, разрубленные мечами черепа,

сломанные копья, пробитые ржавые доспехи, а белокрылые чайки тосковать над реками по павшим воинам.

Не сумела отбиться ратная Держава Руссов. На столетие в скорби растянется сеча с германскими завоевателями. Безжалостно они станут жечь и грабить Русскую землю. Много еще Руссов погибнет под стрелами и копытами лошадей. Во всю покоренную державу печалью возрастут курганы, курганы, курганы, как милосердные и бессмертные гробницы-мавзолеи! И наступит время, когда народ руссов окажется на краю могилы, но не выронит из рук меча и щита, будет жертвенно биться за Русь и на краю могилы.

И выстоит!

Не упали во Вселенную погасшими звездами!

В 375 году восточные славяне выбирают на народном вече князем красавца-воина Божу. Перед обессиленным, опечаленным народом он поклялся на оружии Перуном и Русью: вернуть все земли, завоеванные готами. Он и повел победоносные сражения с завоевателями. На то время держатель короны Германарих почил, королем стал его внук Амал Вититарий.

Божа и воины-русы бились с готами храбро. Люто и храбро бились на Днепре, на Дону, на реке Эрак — и дрогнул враг. Побежал с поля битвы, и гнали готов во всю славянскую землю, вдоль берега Понтийского моря. Но битвы еще шли. И был пленен Божа вместе с сыновьями.

Король германского племени повелел немедленно доста-

вить храбреца к шатру. И долго рассматривал его. Он уже знал: язычники-руссы сражаются за свою землю не на жизнь, а на смерть. Но такого отважного воина княжеского рода, который с сыновьями и малою дружиною обращал бы в бегство его бессмертные легионы, видел впервые.

Князь Божа статен, широкоплеч, густые брови, синие глаза руса, гордо-красивая борода, длинные усы свисают до груди. Голова острижена, оставлен только локон. В ухе золотая серьга с камнем сапфиром. Одет в синее платно, отороченное соболиным мехом, с красным корзно на плече. Княжеский шелом украшен самоцветами. На поясе сиротливо висят ножны. Меч вынут. И передан королю. На землю брошен щит, лежит одиноко, сиротливо, и, кажется, в живой печали. Князь изранен, кровь сочится сквозь одежду, раны болят, но боли не слышит. Плен — самое страшное наказание. Он стоит в горе и стыдливости, глаза обращены долу. Сыновья рядом, они тоже изранены, истекают кровью.

Король Амар Винитар не тревожит воина. Все еще любит его, и несет свою думу. У роскошного шатра стоят готы-всадники в шлемах: безжалостные, хмурые, утомленные битвами с дикарями-руссами. И тоже рассматривают князя, невольно сжимая с силою эфесы сабель. В тишине слышно, как в небе звенят жаворонки, в траве стрекочут кузнечики, как течет между каменными берегами Россь.

— Ты бился отважно, княже, — льстиво говорит король. — Но против меня не выстоять твоему народу. Русская зем-

ля исчезнет! Каждого мужа-воина предам мечу, россиянок уведу в рабство, на потеху Гераклам. Но я очарован твоею храбростью. Убивать воина от Бога несправедливо! Предлагаю жизнь, княже. И службу в моем бессмертном воинстве. Тебя ждут походы. Ты талантливый полководец, бесстрашный ратник. С тобою мы завоюем мир. Откажешься, — предам смерти. Меч вверю и сыновьям.

Шатер стоял на скалистом берегу Роси, откуда далеко была видна Русская земля. Князь Божа долго и влюбленно смотрел на леса, долины, косогоры. И мысленно прощался с родиною. Не было в мире ничего милее его земли. Хотелось целовать каждый лист на березе, священном дереве, каждый камушек, что омывают прозрачные воды Роси. Все останется, а его не будет. Больно и печально!

Князь поднимает голову, презрительно смотрит на самозванного короля-пришельца:

— Русскую землю тебе не сокрушить, — тихо и величественно произносит он, с трудом разлепляя ссохшиеся губы. — Я первый в своем народе и гордо заявляю: никогда народ-светоносец не станет жить низкопоклонным холопом, и перед тобою, королем готов-находников, и перед остальными разбойниками, кто придет покорить Русь! И милость твоя королевская не нужна. Любой смерд на Руси знает: честь дороже жизни. Наша земля прекрасна! Мы засеваем ее хлебом, а не кровью. Вы пришли для насилия и грабежа. Пришли с мечом, а изыщите гибель. *Народ руссов бессмертен, ибо от*

Бога!

Король мрачнеет, в гневе взмахивает платком. Волхвы скидывают бубны, бьют в сухую натянутую кожу тихо, все быстрее, сильнее. Удары достигают сумасшедшей силы, грозою, скорбью гремят медные подвесные колокольчики. Встревожено ржут кони, запряженные в позолоченную колесницу короля. Чайки заполняют небесные выси неумною тоскою. Палач, оскалив зубы, с грозным посвистом опускает меч. Голова князя Божа необычно легко, с глухим стуком, падает на любимую землю, окрашивая ее кровью. Застывшие глаза еще несут печаль, печаль прощания с жизнью и с Русью. С грустью выкатываются слезы, обрета завязь еще в живом сердце. Рядом падают на погост его сыновья, без крика и стога. Открытые глаза несут боль и величие гибели за Русь.



КАЗНЬ КНЯЗЯ БОЖИЯ

Михаил Захарович в раздумье, в трауре выпил, помянул князя Божу, тихо произнес:

— Так умирали русы, внучек, не зная страха и ужаса, ибо знали, смерти не существует. Они бессмертны на Руси, как боги, как сама земля, само солнце.

— Предсказание Божи сбылось?

— Сбылось. Народ изгнал германских завоевателей! Русь, залитая кровью, взялась за рала. Пахарь соскучился по хлебному колосу, а кузнецы в Родне устали ковать мечи.

VI

Но только всколосились буйные хлеба, еще не успели Матери и Жены высушить слезы, пережить горе, Мужи воскресить себя от битв, воровски, под покровом ночи, нагрянули с Дуная гунны с царем Аттилою. И снова по печали обрушилась в провал Русская земля! И уже не раз, не раз в горестной тревоге на площади Киева зазывно затрубили княжьи кликуны в большие туры рога. И витязи, надев шеломы и доспехи, вооружившись мечами, луками, копьями, шли на святилище помолиться языческим богам, где в свете кострищ, под неистовые удары в бубны жрецов и волхвов дико танцевали с застывшими ликами, угрожающе стучали мечами.

ми о щиты, — молили богов даровать победу. И уходили на битву, в просторы Дикого поля, высоко поднимая знамена, где были вышиты лики богов, бык, что тянул рал по пашне, петухи, они почитались как вещие птицы, растущая у Росси береза.

Михаил Захарович знатно покурил:

— Не устал еще слушать?

Внук с мольбою посмотрел:

— Почему, деда? Говори, говори! Отбились от гуннов царя Аттилы?

— Отбились, внучек. Не позволили увести изначальную Русь в рабство с петлею на шее. И даже щегольнули мастерством: построили царю Аттиле древоделы и каменотесы дворец на Дунае невиданной красоты. Вся просвещенная Европа изумилась строительному искусству русов.

— Дворец царю-завоевателю? Зачем?

— Для замирения, внучек. Руссам бы строить города и дворцы. Заполнять земное пространство неземною красотой. Все они умели и имели! Земля великого народа раскинулась от Русского моря до Ледового моря, в лесах зверья водилось видимо-невидимо, реки благодатно переполнены рыбою. Пашни буйно вздымали хлеба. На лугу с богатым травостоем пасся скот. Собирали руду на берегу Роси, варили сталь. Кузнецы в Родно ковали булат, цари и императоры слали заказы на выделку красивого оружия.

Любили наши предки работать, любили и сытную осень.

Особенно, когда земля и богиня Берегиня сторицею воздали за труд, до верха наполняли амбары зерном. По величию, по щедротам устраивали разгульные братчины. К обильному застолью выкатывали бочки с хмельным медом, удаю пели и танцевали под гусли, с задором вели игрища. Необычно гордые и сильные, они поражали иноземцев простотою общения, невзыскательностью к быту. Ликом красивы, телом стройны, нравом незлобивы, ложью и коварством обделенные. Жили по правде, милостью к убогим. Чтили любовь, доброту, жертвенность, на чем, собственно, и держится Истинная Земная Жизнь.

Бог создал красивый народ! Но не дал ему благословенного покоя. Только отогнали гуннов Аттилы, нагрянули на Русь с Дикого поля коварные хазары, печенеги с ханом Родманом, половцы с князем Всеславом. Долго, очень долго еще будут грабить и опустошать Русь по-разбойничьи дикие степные варвары, которую отцы и деды собирали трудом великим и храбростью необыкновенною.

Все века разжигались над Русскою землею грозвые молнии, шли и шли битвы, бесчисленно вставали курганы, курганы, как горестные, неистощимые раны Земли Русской, где с превеликими почестями хоронили храброго воина, кто принял жертвенную смерть во славу Отечества. Все века руссы пели боевую и грустную песню:

Гей, с поля, с поля туча налетает,

То не черная туча, орда наступает.
Бросил рало ратай, меч вынимает,
Гей, да гей!

Русь превеликая держава, ибо ею изначально правили Великие правители и воины, князья Олег, Игорь, Святослав. И Рюрик был Великим русским воином и правителем Руси, именно русским воином, он внук Новгородского Великого князя Гостомысла!

И все же, свершилось страшное разорение. Горькую печаль принесут на Русскую землю татаро-монгольские орды под водительством хана Батыея. Она зальется кровью. И примет муки несказанные в огне пожарищ.

Ничего не останется от дивной Киевской Руси, ее великой старины. Повелитель Золотой Орды прикажет разграбить ее и сжечь. В страшные костры, которые взметнутся над Днепром, осядет и рухнет златоглавый Киев, со своими княжескими теремами на Горе, над Лыбедь-рекою, с Золотою палатою, где принимались вельможные послы сильных держав мира, где хранились знамена, мечи и доспехи древних русских князей. Не уцелеет и Десятинная церковь, где покоились в гробнице святые мощи великого князя Владимира, крестителя Руси.

Познают изуверскую силу огня города, роскошные боярские хоромы и односрубные дома простолюдинов, церкви и храмы, насыпные курганы с погребениями воинов и мирские

кладбища с крестами. В огне пожарищ сгорит все, что наработали мастеровые Руси за столетия, не уцелеют даже летописи о великом народе. Под ржание коней, подгоняя копьями и мечами, по скорбной, крестной дороге погонят татарские орды в неволю тысячи и тысячи славян: плачущих женщин с младенцами у груди, красивых и милых, как с картин Рафаэля, принцесс— россиянок в разодранных платьях, гордых юношей, связанных ремнями, величавых старцев с суровыми ликами, с мольбою и проклятьями на устах.

Надолго осиротеет славянская земля! И долго, страшно долго будут кружить над нею в скорбной печали степные коршуны да дико разгульные зимние вьюги. И сурово, тревожно-молчаливо, словно сострадавая безмерной беде, будет всходить далеко за Днепром красное солнце, лучами боли светоносно высвечивая одинокие, притихшие горы и песчаные отмели, луга и дубравы, где жила в великой славе мудрая, вольная и гордая древняя Русь, где жизнелюбивые плотники возводили в благословенной красоте дворцы, крепости и храмы, освящаемые святыми иконами, где стриженные под скобку бородачи-крестьяне, степенно помолившись пашне и плугу, по древнеславянскому обычаю, пахали землю и возносили колос в дар миру. Где по крутой тропе, под тревожные крики взлетающих птиц, ехал на битву с половцами верхом на лошади храбрейший русский князь Святослав впереди дружины, блистал доспехами, золотою серьгой в ухе, украшенной двумя жемчужинами с рубином. Где на привольном крутоя-

ре, в благодатном окружении берез, в разгульные братчины, русичи, силою и ликами, как Ильи Муромцы, с завидным, неизбывным безрассудством пили из турьих рогов в чеканной оправе хмельной мед, пели и веселились под сладкозвучные гусельные перезвоны, жгли костры на Ивана Купалу, а в русалочную седмицу россиянки водили хоровод, пели песни во славу Лады и Леля, покровителей любви. Бросали венки в быстротечные реки, загадывая о суженом. Играли свадьбы. Растили голубоглазых детей — воинов и пахарей. И жизнь казалась вечною, неразрушимою, неистошимою, как правда, сама земля, как звезды неба и боги неба.

Но земля разверзлась.

И наступила смерть. Страшная и неожиданная.

VII

Михаил Захарович долго курит и, щурясь от крепкого дыма, смотрит на внука: интересно ли, не переутомил ли память и сердце? Нет, все дивно. Он не безмятежен. В родственную плоть мальчика заложена любовь к Руси! Он сердцем вжился в ее беды, неизбежные тяжелые испытания. Неведомые далекие века волнуют его. Тот скорбный мир властвует в его таинстве. Последнее известие деда потрясло горем и печалью маленькую душу.

Он скорбно хмурит брови:

— И что, Русь погибла?

— Погибла, внучек. В одно мгновение. От татарского копья. И меча. Все ушло в глубину веков, в забвение. В безвозвратность. Та, киевская! Но наша с тобою, изначальная, исконная Русь не умерла. Не одолели ее завоеватели. Она в скорбном молчании возденет мученический венец, с любовью попросится с последним пристанищем, с киевскою землею! И, опираясь на посох, тихо, благословенно, под горестный плач женщин, печальное кружение птиц в небе, пойдет в беспредельном одиночестве от реки Рось, шепча молитву, в свое самоспасение — все дальше на север. Все дальше от могилы, ее страшной бездонности, ближе к Китежу и Новгороду, где во все прелестное и строгое раздолье и безбрежье радовали мир и человеческое сердце первобытно-густые леса и синие озера, чистая лазурь неба, загадочная даль полей. И русичи станут терпеливо возводить вокруг Новгорода новые города-крепости, копить силы для Воскресения русского Отечества.

И воскресят Русское Отечество, воскресят при крутом и властном Великий князе Иване Третьем, именно он остановит губительное разорение Русской земли, соберет в сборность княжества под верховенство Москвы. И явит миру новое великое государство — Русь святую, православную! И станет первым царем. Варварские полчища Золотой Орды еще будут носиться страшным смерчем над Русскою землею, наполнять ковыльные степи зловещим топотом коней, тьмою летящих стрел, звоном щитов и сабель. Жечь горо-

дища и церкви, безжалостно убивать ее святителей, бесчестить и уводить в полон принцесс-россиянок, лучших мужей, истреблять на корню славянские племена, но Русь, восставшая на пепелище, уже одержит победу на Куликовом поле, уже вырвется из безумия насилия и порабощения, разбудит неиссякаемые духовные силы. И все больше будет в труде, в умудрении, в таинстве молитвы возрождаться новою жизнью. Москва станет третьим Римом, защитницею славян всех земель.

Великороссы спасут себя как народ,

Но не спасут себя от битв. Непрошенно пожалуют ливонские рыцари из Литвы, панская Польша, воинство лютого и безжалостного Тамерлана, он же Тимур, железный хромец, будут измучивать крымские ханы, как Девлет-Гирей, владыка мира Наполеон.

— Не давали жить русичам! — с печалью замечает Александр.

— Не давали, внучек! — охотно соглашается дед-мыслитель — Бесконечно много боли и слез, разорения и унижения пришлось пережить им и принести жертв на поля битв, дабы не дать погибнуть земле Русской.

Мальчик задумчив:

— Все века уходила Русь на поле сечи. Но не погибла от меча. Выжила! В чем ее тайна?

— Тайна? Гм. — Михаил Захарович огладил бороду. — Сам бы желал знать, внучек, какие Божьи силы в чере-

де веков сберегли ее для бессмертия? И сам народ? Канули в безвестность, многие кочевнические державы, кто шел на Русь с мечом, бросал ее в огонь земных пожарищ, грабил, обращал городища в каменные безмолвия, откровенно нес Земле Русов страшную правду смерти — скифы, сарматы, хазары, печенеги, берендеи, половцы. И еще бесчисленное множество хищных племен, губительно грозных ханств и воровских царств. Все поднялись коршунами с земли и унеслись стаями в звездную Вселенную, истаяли, исчезли в вышине и тишине. А Русь осталась, не изжила себя, не сошла в безмолвие саркофага, сохранила свой исток, красоту, величие, рукотворные деяния потомков. Воистину загадка, которая не может не мучить гордою и пленительною красотой.

— Наши воины умели биться? Это спасало? — высказал предположение Александр.

Дед ласково погладил его по голове.

— Верно. Сражаться руссы умели. Вся дружина, отправляясь на битву, клялась на оружии в окружении женщин, старцев и жрецов, с достоинством произнося: «Лучше смерть приму и ею добуду вечную славу, чем оставлю в беде Русь!» От врага никто не бежал. Умирили с мечом, выпускать его из рук — считалось великим позором. Воин, убитый стрелой или копьем в спину, в братском могильном кургане не погребался, его тело выбрасывали воронью, а самого проклинали до скончания века как труса и изменника.

Дивились бесстрашию нашего рыцаря скифы и хазары,

печенег и половцы, готы и гунны, сами безукоризненные храбрецы.

Дивились жертвенной храбрости руссов и воины Батыя. В той же Рязани, защищая город от его несметных и необоримых орд, сражались все, и мужи, и женщины, вооружившись луками. Бились с отчаянием безумцев, изнемогая от тяжелых ран, пока не истекали кровью. Когда Батый вошел в поверженный, но непокоренный город, вокруг стояла святая могильная тишина. Мать не оплакивала сына, жена мужа, сестра брата – все были мертвы. Все погибли равно, героями и храбрецами. Кто не пал в битве, бросались с колоколен в огонь, на мечи. Бросались жертвенно и в реку, печально-красную от крови, дабы не попасть в плен, не стать рабом.

После крещения Руси, заступники ее умирали как святые праведники. Они верили, что получают вечную жизнь от Христа.

Еще великие русичи умели дружить, не помнить зла. И даже к лютым врагам несли любовь и милосердие. Победили в битве скифов, стали братьями, а не врагами.

В битве одолели половцев, в честь победы заложили на берегу Днепра храм Архангела Михаила, но по жизни обнялись, как братья. Русские князья охотно брали в жены красавиц из половецкого стана. Половецкие ханы до безумия полюбили россиянок, за одну голубоглазую принцессу-россиянку давали табун лошадей. Свадьбы играли разгульно. В

веселой удали пела и плясала вся Русь! На затяжном роскошном пиру горделивые ханы, не желая уронить достоинства перед хлебосольством великокняжеского двора, не раз в буйном хмелю пропивали бочонки с золотом. Половцы по душе полюбили великороссов. Именно они первые приняли христианскую веру и в клятве в Софийском соборе поцеловали серебряный крест, на котором старинною вязью было выгравировано: «Быти воедино!» И были воедино. Почитали за честь ходить в походы с русичами и защищать славянскую землю. Бились отважно, делили с братьями не только пиры, но и смерть. Как и русичи.

Еще умели предки расти в страдании, зреть в беде. Не отчаиваться в горе. Тревожные века переживали с достоинством, без гнева и жалости к себе, без тоскующего плача о сиротской доле на развалине городищ, на могильном камне церкви и храма. И работали, работали! Они как открыли таинство жизни. Разгадали загадку, зачем живет человек? В чем его смысл, дивное земное назначение? А живет он не для меча, а для рала, ради жены и детей, сытой осени, ковша хмельного меда, для пляски под гусли и гармонику на вечернем росном лугу, в окружении берез с неумолчно свистящими иволгами. И в рукотворном творении наделять свою землю сказочною красотою. Уметь защищать ее.

Другого назначения у человека, по воле Творца небесного, не имеется, если в сердце живет гений созидания. В русиче он живет! *Отсюда и вечно Воскресение Руси!*

Михаил Захарович знатно покурил:

— Что еще надо уяснить на прощание? Из глубины веков пробился на землю свет жизни — и мой, и твой. Не выживи гордая, непоклонная Русь, исчезни земною слезинкою, земною болью и былью в безжизненной пустоте, не пришли бы и мы с тобою, как россияне, на пир любви и жизни. И именно, — как россияне с красивым, гордым и бессмертным именем! Не увидели солнца, россиянок на роскошном лугу, что лебедушками плывут в хороводе, под удалую гармонь, не узнали бы, что высится на земле великая святая Русь с чарующею прелестью лугов и пашен, нежным разливом озер и рек, смиренно-милыми лунными ночами, с трогательно печальными березками, с медовыми запахами ржаного хлеба в косовицу. Они, твои предки, подарили тебе Русь. Теперь ты должен подарить ее сыну. И подарить во имя ее бессмертия Александр с любовью прижался к груди деда.

Глава третья

ВОПРЕКИ ВОЛЕ МАТЕРИ, АЛЕКСАНДР БАШКИН УХОДИТ НА ФРОНТ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

I

Вернувшись из путешествия к себе на сеновал, в свою быль, пообщавшись с Русью, Александр ощутил горько-неуютную раздвоенность души. Еще больше стало обессиливать раздумье: идти добровольцем на фронт? Не идти? Быть воином Руси великой? Не быть?

Тревожные, громовые стуки сердца неумолимо кричали: быть им! Несомненно, быть! Разрыв с матерью неизбежен! Он не может остаться в стороне! По совести Михаил Захарович заверил, он на деревне Сократ-мыслитель — древние предки, навеки уснувшие в земле, обняв в трогательной смиренности мечи и рыцарские доспехи, смогли сберечь свою землю, спасти Русь. И даровать ему. Теперь он должен спасти Русь и даровать ее людям. И тем продвинуть ее в бессмертие. Конечно, он должен надеть рыцарскую кольчугу и взять меч. Как воин из дружины Святослава. Или из дружины Божи. Разве он не хочет, чтобы Россия и дальше жила в мире и согласии, наполняла себя красотой и величием? И благодарно

одаривала ими человека? Не хочет, чтобы шла и шла в венке из ромашек победоносно и светоносно, от храма к храму, под сокровенный колокольный благовест в свой праздник жизни, в свое бессмертие? Разве не этим болит душа? Не этим наполнена и переполнена? Разве он не чувствует, как много она познала за жестокие века степных скитаний, кочевой бездомности, неприютности, мук и скорби, нескончаемых битв. Зело непросто далось ей остаться на земле. Должно же быть возблагодарение святой страдальце. Не получается! Не удастся скинуть крест проклятия, что несет из столетия в столетие, как Христос на свою Голгофу, безжалостно избиваемая плетьюми и острыми пиками палачей.

Двадцатый век не стал исключением. Снова пришли на древнюю Русь времена печали и скорби. Великая неодолимая сила обрушилась на землю Русскую! Такой еще не было. Ратное побоище предстояло необъятно великое, бесконечно скорбное! Русь опять, в тысячный раз, должна была исчезнуть или защититься! Как же можно не быть ее воином?

Александр посмотрел на небо, на звезды. И снова в грусти подумал: разве может он теперь спокойно жить и работать, ходить на зазывные вечеринки в березовую рощицу, слушать радостные разливы гармошки, лихо, с подсвистом, танцевать кадрили и краковяк, играть в «колечко» с поцелуями? Не сможет! Он уже знает, что вдали от Пряхино враг топчет его землю коваными сапогами, рвет на траурные ленты ржаные поля гусеницами танков, бомбит и сжигает его города, уби-

вает его русских мадонн.

Не сможет! В боли надорвется сердце. Он болен Отечеством! Он и Русь неотделимы! Он — ее березка, ее хлебный колос, ее родник, бьющий меж камней в устье Мордвеса, ее молния, ее синее небо, которое стоит в целомудренной красоте над Русью тысячи лет. Ему теперь все больно! Громы-хают ли надменно-грозные сапоги по его дивной земле, ему больно. Больно! Не по земле, по его телу они так ожесточенно грохочут! И танки-крестonosцы, грозно идущие по полю, не хлебные колосья топчут и рвут на траурные ленты, а его сердце. Попал ли снаряд в березу, она занялась пламенем, опять же больно ему и ему! Это он горит на костре, и он слушает, как князь Божа, последнее песнопение земли Русской, и слушает, как он, перед казнью, прощаясь с жизнью.

Он слышит, слышит Русь не меньше, чем князь-жертвенник Божа! Они едины чувствами! В его сердце перелились чувства князя! Он горд, он, несомненно, горд, что предки даровали ему в наследство такое и милое и прекрасное Отечество!

Александр посмотрел в оконце. Уже занималась заря. Запели птицы. Взгляд невольно скользнул по балке. С балки, привязанная лыком, свисала сбруя, смазанная дегтем, в паутине, как в саване, томились тележное колесо, исхоженные лапти, запыленное лубяное лукошко, с которым еще дед Михаил странствовал по дико-густому лесу, собирая грибы и дикую малину. Неожиданно увидел лампу-трехлинейку под

круглым жестяным щитком. Встрепенулся, снял ее с гвоздя, взболтнул; керосин был. Зажег, достал из ящика амбарную книгу, чернильницу-непроливайку, ручку с пером. Торопливо испробовал перо. И, чувствуя, как обжигают мысли, сильно стучит сердце, стал в волнении писать:

«В Мордвесский райком партии, первому секретарю П. В. Пенкину, военному комиссару майору А. И. Клинову.

К вам обращаюсь я, Башкин Александр Иванович, работающий в госбанке инспектором по кассовому планированию и заработной плате. Враг напал на мою Родину. Я как верный сын своего народа, гражданин великой страны Советов, выражаю искреннее желание немедленно и добровольно вступить в ряды Красной Армии, обещаю сражаться с врагом беспощадно, не щадя жизни, до последней капли крови. Клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашист не будет уничтожен на моей земле. Я скорее умру в жестоком бою, чем отдам в рабство себя, свою семью, саму Россию. Кровь за кровь, смерть за смерть!»

Поставив размашистую подпись, он перечитал заявление. Получилось возвышенно. Подумал, не переписать ли? Трудно не составит. И время было. Но какой смысл? Опять получится та же летопись. Все — от сердца, от правды чувств.

Долг перед Русью победил долг перед матерью.

По земле в пожарище неумолимо катил второй день войны. Александр Башкин с утра живо зашагал знакомою тропкою в Мордвес, надежно спрятав в карман пиджака заветное заявление-клятву, которое тревожило таинством и, казалось, обжигало огнем всю грудь. Он полагал, что явится в банк первым и еще раз все обдумает подальше от дома, от матери. Ему не хотелось оставлять ее наедине с горькою обидою, обращать ее любовь в ненависть. Его не страшила смерть, его сейчас страшила жизнь. Жизнь матери. Но, к его удивлению, в банке уже были управляющий и бухгалтер. Они сидели в кабинете, при свете настольной лампы, хотя золотистые лучи солнца ласково озаряли уютную рабочую комнату. Сидели они молча, задумчиво, лица их были бледны, взгляд не скрывал тревоги и растерянности.

Дверь полуоткрыта. Постучав, Башкин вошел, поздоровался. На всякий случай поинтересовался:

— Могу ли я взять командировочное удостоверение, Андрей Иванович?

— Удостоверение? Какое? — не понял управляющий банком Щетинников, хмурия брови, напрягая мысль.

— В Тулу. На семинар, в центральный банк.

— Голуба, вы с луны свалились? — он посмотрел строго, с недоумением. — Разве вы не слышали по радио выступление Молотова? Фашисты бомбят Киев, в пожарище города, льется человеческая кровь. Самое время разъезжать по Руси на свадебной тройке с бубенцами!

— Чем прикажете заняться?

— Дел вперехлест. Указом Президиума Верховного Совета СССР объявлена мобилизация в армию. Звонил военком, надо немедленно приступить к выдаче денег каждому, кто обрел статус воина Отечества! Вы у нас инспектор по заработной плате, без вашей подписи им деньги не выдадут. Наплыв бухгалтеров из Мордвеса и колхозов ожидается серьезный. Придется работать ночью, ночевать в банке. Могу ли я рассчитывать на вас?

Башкин невольно подтянулся.

— Я буду работать столько, сколько потребуется.

Управляющий банком поправил очки в роговой оправе,

— Это хорошо. Это оч-чень хорошо-с, что вы так остро чувствуете великую народную беду, судьбу Родины. Признаться, другого ответа я не ожидал. Вам сколько лет?
— неожиданно поинтересовался он.

— Восемнадцать, Андрей Иванович, — Башкин отозвался в смущении.

— Оч-чень хорошо-с, — с удовольствием заметил он.
— Значит, с вами еще поработаем. Вас востребуют много позже. Надеюсь, вы не собираетесь добровольцем на фронт?
— он пристально посмотрел. — Впрочем, это ваше личное дело. Но, поверьте, мне было бы оч-чень жаль-с расставаться с вами. Вы человек чести и дисциплины, надежда банка, его юность, его прекрасность.

Жизнь завертелась вкрутую. Больше Александр Башкин

домой не попал. Работал с полной выкладкой, ночевал в банке. Выписывая финансовые документы, постоянно думал, как бы вырваться и поскорее отнести заявление в райком партии. Но вырваться не получалось. Время сжалось предельно.

Звонок из райкома комсомола раздался рано утром.

Башкин снял трубку.

— Привет, финансист! — услышал он бодрый голос первого секретаря Николая Моисеева. — Зайти можешь?

— Не могу, — отрекся он, и невольно услышал в себе усиленные стуки сердца. — Дел вперегруз. Спроси начальство. Отпустит, подбегу.

— Дай ему трубку.

Управляющий банком мрачно выслушал пожелание секретаря райкома комсомола.

— Беги, голуба, раз зовут!

— Я скоро вернусь, — пообещал Александр, увидев печальные глаза начальника.

— Ты уже не вернешься, Сашок, — отечески вымолвил Андрей Иванович, сдерживая невольные слезы.

До райкома комсомола было недалеко. Башкин шел топорливо, хотя пытался сдерживать себя, укротить мятеж, что неожиданно-негаданно взметнулся в груди, он мешал дышать, обрести строгое благословенное спокойствие; ноги несли сами, сила воли отказала ему. Он не слышал себя, жил вне времени и пространства.

Неуемное мятежное ликование не покинуло юношу и в кабинете секретаря райкома комсомола.

Моисеев, увидев его, приподнялся, поздоровался крепким рукопожатием.

— Садись, богатырь, — бойко пригласил он; секретарь, конечно, шутил. Башкин был худ и высок и больше походил на Дон Кихота, чем на русского богатыря Никиту Добрыню.

Но юмор ценил:

— Не тот богатырь, кто хвалится на весь мир, а тот велик и могуч, в ком дух певуч, — непреклонно отозвался Александр, присаживаясь на венский стул.

— Верно, верно, — не стал возражать Николай Васильевич, оглядывая красивого юношу, с горделивым взглядом, губы характерно сжаты, голубоватые глаза отражали чистоту души. — Значит, так. Обком комсомола собирает под свои знамена добровольцев-ратников для отправки на фронт. Ты секретарь комсомольской ячейки банка. Понял, о чем я?

Помедлив, Башкин достал заявление, бережно расправил и подал секретарю райкома комсомола. Моисеев внимательно прочитал его.

— Уже написал? В первый день войны? Молодчага! Идешь добровольцем? Что ж, выбирай! Обком партии принял решение о создании истребительного батальона и о создании Тульского коммунистического полка. Куда вытягиваем жребий?

Александр передернул плечами.

— Ясно куда, скорее на фронт!

Секретарь райкома стал размышлять:

— Истребительные батальоны создаются Управлением государственной безопасности, на случай защиты Тулы от врага. Коммунистический полк вершится исключительно из членов партии и комсомольцев, и, скорее всего, будет немедленно отправлен на Западный фронт, на защиту Смоленска, Вязьмы, Ярцева. Что выбираем?

— Коммунистический полк, — твердо заверил доброволец.

— Окончательно решил? В таком случае, перепиши заявление на мое имя. Но имей в виду, Тульский коммунистический полк, воинство особое, отсев будет серьезный. С добровольцем станут беседовать на бюро райкома, обкома. Отберут лучших из лучших. Не побоишься?

— Попытаем судьбу, — тихо уронил Башкин.

— Вот тебе талоны. Как доброволец, получишь в железнодорожном магазине два килограмма сахара и два килограмма муки, а в банке — денежное содержание. Дома напишешь автобиографию, заполнишь анкету: какие языки знаешь, был ли за границей, кто из родственников привлекался, как враг народа, кем работает мать, кто отец, — он подал ему бланк, отпечатанный в типографии. — В твоём распоряжении вечер. Попрощайся с родными, с девушкой. К двенадцати ночи быть у райкома партии.

Ш

Домой Башкин не шел, а бежал. *Предстояло самое страшное, прощание с матерью.* Временами, он останавливался, и долго стоял у березки, обняв ее, прижавшись разгоряченной щекою, слушая, как шепчутся листья, пересвистываются иволги. Как у реки, в зеленой осоке свистят коростели, как летают над привольным лугом неутомимые пчелы, разнося над цветением и разнотравьем хорошо уловимые медовые запахи, смотрел, как дивно колышутся в поле зеленые хлеба. Успокоившись, снова ходко шел все ближе и ближе к пугающему дому.

В избу он вошел с замиранием сердца. Матери не оказалось. У печи сидел Иван и строгал кухонным ножом лучины, аккуратно складывал колодцем у загнетки.

— Где мать? — тихо спросил Башкин, сдерживая волнение.

— Корову пасет на лугу.

— Беги, позови. Скажи, я прошу.

Старший брат безмятежно вымолвил:

— Ты чего такой жаркий? От волков бежал?

— Узнаешь. Позови скорее.

— Сам не можешь? — все еще не соглашался Иван.

— Ты брат или не брат? — излился в гнев юноша.

Иван тревожно заглянул в его глаза, наполненные печалью и горем, где уже жили отречение от мирской жизни, молит-

венная готовность к подвигу, все понял.

Тихо произнес:

— Ну, дела, щенят сука родила. Обрадуешь мать, — и необычно посмотрев на брата, вышел, громоподобно хлопнул дверью.

Оставшись один, Александр долго, бесприютно ходил по горнице. Он слышал в себе отчаяние. Его страшил приход матери. Он не знал, что скажет, как объяснит свое вероломное отступничество, успокоит ее, укротит ее великую печаль? Все складывалось сложно. Невероятно сложно. Он дал слово и не сдержал его. Поступил бесстыдно. Перед самым родным и любимым существом. Оскорбил ее ложью. Омрачил ее надежду, ее светлую веру, ее целомудренные чувства к сыну. И исхода не было. Как ни печалься, а расставание неизбежно. Прощание тоже.

Дом радовал чистотою и уютом. Свет солнца приятен, он золотил нежным и ласковым светом раскидистую русскую печь, полку с посудою под загнеткою, стоящие в углу рога-чи, топоры, кочергу, божницу с иконою Владимирской Богоматери, малиновую лампаду на бронзовой цепочке, стол, накрытый холщовою скатертью, заправленные ночные лежбища, портреты на стене в старинной раме; был полный расклад его древних родственников, по чьей осознанной ли, случайной воле зажглась его жизнь; деды его Василий Трофимович и Михаил Захарович, бабушки Арина и Матрена, их братья и сестры; многие уже ушли в землю, в саркофаг, в

покой и тишину. Пройдет миг, еще один миг на земле, и все исчезнет. Станет недостижимым. Вернется он снова в святилище детства, не вернется — неизвестно. Возможно, не вернется уже никогда-никогда. Вдали от дома, на чужой земле настигнет его пуля, и он, не зная: жил ли, упадет звездой в разверзнутую землю, в могильный склеп. В последней красоте, в последней печали. сгорая. Хорошо еще, если воскреснет именем на земле. Начертая друзья на могиле: жил, геройски погиб. А то и сгоришь земным костром, до последней искры. Без покаяния и молитвы, без человеческой памяти. И все, ничего больше не станет: ни отчего дома, ни милой деревни, ни быстро бегущей речки под окном, с березками по берегам, с туманами, осокою и коростелями, где он ловил бреднем карасей, раков в тине под камнями, любил наблюдать, как плавают гуси. Как, выбравшись на берег, чинно и важно идут по улице, не будет и луга, откуда ветер приносит медовую сладость трав и цветов и где сейчас пасутся, резвятся сытые жеребята, безмятежно, послушно ходит на привязи теленок, и этого колодца с журавлем. Не будут больше взлетать из-под ног дикие утки на болоте, за Волчихой, по которому они ходили вместе с другом Леонидом Ульяновым, со смертельным риском перепрыгивая с кочки на кочку; крепили стойкость духа, смелость и пренебрежение к смерти. Втайне от людей. Могли не раз погибнуть. Узнала бы мать, исполосовала ремнем до крови и беспомысленности. Но больше всего печалило, что исчезнет в вековой безвестности и дом

за рекою, ее дом, где живет милая и красивая девочка. *По имени Капитолина*. Она несказанно нравилась ему. Он не испытывал душевных мук, тоски и любви и не мог испытывать — принцессе было тринадцать лет. Но встречать ее было радостно: и на улице, и на разгульных вечеринках, где она чаще играла со сверстницами, кружилась вокруг берез, с дивным вниманием слушала гармонь Леонида Рогалина, по прозвищу Шалун, прищурив большие серо-голубые глаза, поджав пухлые губы, по-девичьи стыдливо и зазывно, поглаживая обе косички. Но чаще смотрела, как выплясывают радость парни и девушки, чем пускалась в пляс сама. Каждый раз при встрече прелестная соседка здоровалась с Александромашкиным. И он с юношеским целомудрием замечал, как замирает его сердце, наполняется трепетным и тревожным ликованием. Не раз она непрошенно и желанно приходила в его растревоженные мужские сны.

Он бы и сейчас желал ее увидеть.

Попрощаться. Мысленно. И сердцем. Больше для себя. На миг. Всего на миг. Возможно, с поцелуем. Одним-единственным. Не больше. Пусть бы осталась в памяти святою и непорочною русскою мадонною до его смерти.

Он невольно, в стыдливой чистоте, прильнул к окну: не выйдет ли с ведром к колодцу, который был рядом с ее домом и благостно закрыт от солнца густыми ветвями молодого ясеня.

Девочки не было.

Зов его не услышан.

Александр вздрогнул, прислушался. Так и есть. С улицы скрипнула дверь, в сенях раздались отчаянно быстрые, тяжело торопливые шаги матери. Войдя в горницу, она цепко, прицельно посмотрела:

— Звал? — спросила настороженно.

— Звал, мама.

— Что случилось?

— Я ухожу на фронт. Пришел попрощаться.

Мария Михайловна суетливо ощупала руками воздух, боясь упасть, присела на табурет и долго сидела строго и неподвижно, изредка, в бессилии, касаясь дрожащими пальцами платка, наброшенного на плечи, сухо, без внимания тебя бахрому. Известие ошеломило ее, потрясло, пронзило горем. И теперь она старалась разбудить, восстановить в себе душевную стойкость. В ее сердце жило естественное желание: защитить сына, спасти его от войны и смерти. А, возможно, и от губельного душевного страдания! Ей было страшно. Она словно предвидела, какая злая и жестокая, мучительная судьба ожидает ее сына, какой крестный путь ему уготован пройти по земным кругам ада: он будет гореть в разбитом танке заживо земным костром посреди земли, биться до крови, до муки, до невырази мой боли головою о железные решетки тюрьмы, где его станут с бешеным упрямством, до беспамятства избивать чекисты, и так, что, бро-

шенный на холодный пол в камере, окровавленный, он, придя в себя, будет в безумной надежде молить о смерти, чтобы избавиться от боли и мук, и смерть придет – свои приговорят его к расстрелу, как изменника Родины, и уже посадят в ко

нечно-земную камеру смертников, и он в горькой тоске, безвинно униженный и оскорбленный, будет ждать рассвета, казни. И только чудо, ее молитва спасут его. Оказавшись в окружении, в плену, его будут раздетого и разутого гнать в колонне по осенне-снежной распутице в фашистскую неволю, в рабство. И нещадно колоть штыками. Не единожды он будет бежать из плена. За побег, в назидание остальным, его привяжут к деревянному кресту, поднимут на распятье и будут носить по лагерю перед заключенными; будут обливать холодной водою на морозе, и он будет долго-предолго стоять на ветру ледяною глыбою, травить до смерти овчарками. Но он снова выживет. И сбежит.

Сын еще ничего не знает. Правда его жизни скрыта временем.

Неисповедимы его пути.

Но мать, наделенная даром провидицы, мудрым и чутким сердцем предвидела его рок, который жил в ее сыне и ждал своего времени. Она не могла отдать его в такую страшную беду, отдать на поругание, отпустить его на добровольно избранный им крестный путь.

В ее милосердно-материнском сердце зрел протест.

Но как спасти его? И можно ли? Не от богов ли проклять-
е?

Мать Человеческая угрюмо и строго посмотрела на сы-
на. Он стоял безмятежно, слегка опустив голову, не чувствуя
беды, страдания и смерти. Он был чист и свят в своем бла-
городном порыве, в своем самоотречении. Но глаза отводил,
чувствовал вину. И мать поняла: все слова ее бессмыслен-
ны. И не нужны сыну. И уже никому не отвратить страшную
правду его судьбы.

Сын был из окаянного племени праведников, нес в себе
непоклонность, одержимость.

Думы о сыне расслабили Марию Михайловну. Она подня-
ла глубоко запавшие глаза, устало спросила:

— И когда же ты уходишь?

— Немедленно, мама. Попрощаюсь с вами, чемодан в ру-
ку. И в поход.

— Как немедленно? Я не ослышалась? Объясни толком,
— строго потребовала мать.

— Чего объяснять? — выразил недовольство сын. — От-
пустили на день. К двенадцати ночи быть у райкома партии.

— Оглумеешь с вами, — тяжело вздохнула женщина.
— Прибежал взбалмошный, как от волчьей стаи отбивался.
И ни свет, ни заря на фронт! Не потужить, не погоревать, не
поплакать всласть. Нешто по-людски?

Александр подошел и обнял ее.

— Так надо, мама. Извини. Знаю, что приношу тебе боль.

Но так надо, родная.

— Кому надо? – в горе спросила она.– Исстари на Руси провожали ребят с благословенно-тоскующим плачем женщин, с праздничною гульбою. На десять дней их освобождали от пашни и сенокоса. Они ходили от избы к избе, по гостям, пили водку, горланили песни под гармонь и балалайку. И никто их не осуждал. Даже самые строгие бабы. Напротив, все в деревне с почтением, ласково говорили: «Годные гуляют!» И подносили стакан самогона, пирог на закуску. В каждом домашнем святилище призывники были – знатные и желанные гости. Я была девушкой, я сама видела, как провожали героев на фронт в первую мировую. Обычай этот не от русской разгульности, удалой, забубённой бесшабашности. Ребята уходили на войну, на смерть! Осознай! И им на расставание играл оркестр! Грустный и гордый марш «Прощание славянки», берущий за сердце. Все было свято и торжественно.

Почему? Все шло от смысла, от крепости жизни, от красоты ее, от осознания ценности человеческой сути. А ты как уходишь? Ни марша «Прощание славянки», ни песен, ни гармоники, ни праздничной гульбы, ни материнского благословения. Уходишь, как беспутный бродяга! Не стыдно? Забыл разве, как я в печали, строго и молитвенно произнесла: проклянущу, ежели ослушаешься?

— Не забыл.

— И что же?

Башкин хмуро уронил:

— Вернусь с войны, отгуляем!

— Вернешься ли? — грустно посмотрела мать.

— Вернусь, я живучий, — твердо заверил сын. — Не всех там убивают. Не хорони заранее.

— Ишь, расхрабрился. Вояка! — строго осудила его веселость Мария Михайловна. И отошла к печке, сняла медную заслонку, сложила лучины, сверху положила березовые поленицы, разожгла огонь. Стала собирать ужин. — Добро бы женат был. Дети были бы. Убьют, и рода пахарского не протолкнешь, себя не оставишь в памяти сына, дочери. Что жил, что не жил! Зачем своеручно ищешь свою погибель? Отскажи! Твои сверстники не торопятся. Придет черед, и их возьмет черт. Зачем из упряжи выбиваться? Обождал бы годок, свой срок, вошел в зрелость. Тебя бы самого востребовали. И вышагивай на битву со спокойною совестью. Кто гонит, какая печаль?

По живым и добрым движениям матери было видно, что она с тоскою и мукою, но примирилась с реальностью. И теперь осуждала-наставляла больше для порядка. Ее душевное равновесие радовало.

И Александр тепло сказал:

— Ладно, мама. Оставим печали. За свое Отечество я иду на крест. За тебя, за сестер и братьев, дабы жили в свободе, а не в рабстве. О чем еще толковать? Придет смерть, что ж! Приму ее с молитвою и смирением. За Русь свою. *Как пред-*

ки-великороссы! И князь Божя. И пусть там, на чужой стороне, чужие березы опустят на мою могилу плакучие ветви. Поплачут ими в дождь, погорюют. Может, и ты приедешь, погрустишь. Все легче будет печалиться в угрюмо-звездной вечности, зная о материнской любви, — он ласково обнял ее. — Но поверим в лучшее, родная!

Мария Михайловна от ласки уклонилась:

— Бестолошные вы дети, бестолошные. Я ему про жену, а он про сатану.

— Все решено, мама. Безвозвратно! Зачем впустую расстраиваться?

— Кем решено?

— Мною, — без гордыни ответил сын.

— В одиночку? — строго посмотрела мать. — А ты сестер спросил, Нину и Аннушку? Им как расти без кормильца? Кому по весне ходить за сохой и плугом, сев вести? Луга скашивать, сено возить? Топить овины, за скотиною ходить? На мельницу с помолом ездить, зимой в лес за дровами? И еще холсты ткать, хлебы печь? Кому? Все одною? Одною мучиться заботою? — Она вынула из жарко-угольной печи на ухвате чугунок с булькающею картошкою. — Ежели бы ты один меня сиротил, куда ни шло. Стерпела бы. Пересилила обиду. Я тоже мать России. И боль ее понимаю, и беду. И святость твою. Кому, как не тебе от врага ее защищать? Не Леньке Ульянову? Но вслед за тобою на сечу уйдет Иван. Алексей подходит, как на дрожжах. С кем я останусь? Толь-

ко с горем наедине? А как печальница-война возьмет еще Ивана и Алексея? Выживу я?

В избе уже собрались все домочадцы: братья Иван и белокурый, как Лель, Алексей, сестры Нина и Анна. Девочки сидели на скамье, с любопытными лицами, усеянными веснушками, со светлыми, как лен, волосами, выгоревшими на солнце, с курчавыми колечками на концах, в холщовых сарафанчиках. И беззаботно, шаловливо болтали босыми ногами в ссадинах и порезах.

Александр присел рядом, погладил их по волосам.

— Что, красавицы, отпускаете на фронт?

— Отпуска-аем! – дружно, в голос воскликнули домашние принцессы.

— Слышишь, родная? — весело посмотрел сын.

Мария Михайловна на шутку не оттеплилась, угрюмо заметила:

— Нашел, у кого разум пытаться. Муравей, который соломинку тянет, и тот мудрее. Бестолошные вы, и есть бестолошные. Ладно, окончим потолкуй. Садись к столу. И вы, мужики, и вы, проказницы. Не ждите особого приглашения.

Ужинали молча. Ели жареное мясо и картошку со сметаной, запивали молоком. Пили чай с малиновым вареньем. Только один раз взметнулась буря.

— Я, мама, получил в магазине военный паек, муку и сахар. Оставляю вам. Испечешь пироги. Своя когда будет. Пусть чай пьют послаще, — отпивая молоко, сказал Алек-

сандр.

— С собою возьмешь, — не согласилась мать. — В дороге пригодится. Мало ли чего?

Он удивился:

— Зачем с собою? Я еду на фронт. Буду поставлен на довольствие.

— Я сказала.

— И я сказал!

— Не иди вперекор, — огневилась мать. — Я знаю, что делаю, а ты тьмою живешь. Моя еще власть в доме. И замолчь, басурман бестолошный.

Дальше наступила тяжелая тишина.

После ужина Мария Михайловна достала деревянный чемодан, старательно вытерла пыль и стала аккуратно складывать чистые, отутюженные рубашки, отдельно завернула в газету яйца, отварное мясо, слоеные пироги. Александр решил не вмешиваться. Он взял хлеб, два кусочка сахара. И вышел во двор. Открыл тугие деревянные ворота стойла. Лошади стояли, наклонив голову, тербели из охапки сено, забирали его в толстые губы, с приятною, вдумчивою неторопливостью жевали, вальяжно встряхивали густыми шелковистыми гривами, в удовольствие скребя землю копытом. Он постоял, полюбовался и дал им с руки по очереди хлеб с сахаром. Подождав, обнял за шею Левитана, затем Бубенчика, ласково поцеловал. Лошади смиренно косили лиловыми глазами и, казалось, чувствовали расставание; глаза их наполнились

слезами.

— Прощайте, вороны, милые! Увидимся ли?

Александр нежно и с тоскою потрепал их по щеке и покинул стойло. В сердце его тоже густились слезы.

IV

Они вышли в путь-дорогу, когда уже смеркалось. Над лесом закатывалось солнце, благостно озаряя прощальным золотистым светом землю и небо. Он шел впереди, мать и Иван следом. Шли берегом реки, мимо берез, ольховых кустов. Над притихшею речкою стоял туман. В осоке свистели коростели, сильно и радостно, как на свадьбе, квакали лягушки. С реки с грустно-свистящим шумом вспархивали дикие утки. За огородами, откуда свежо пахло росистой полынью и коноплею, истошный женский голос звал заблудившуюся корову. На деревне блеяли овцы, лаяли собаки.

Путь пролегал мимо дома его девочки-подростка Капитолины. Опять страшно, до мучительно-сладкой боли захотелось увидеть ее. Просто заглянуть в глаза, просто подержать ее руку. Просто улыбнуться на прощание. И все, он бы на веки вечные ушел в ласковость, в правду любви и надежды. Но никто не вышел на высокое резное крыльцо избы-терема, не помахал платком в неотмолимой тоске и любви на прощание.

Грустно постояв у ее дома, Башкин, как опомнился, заша-

гал еще быстрее.

За околицею мать не выдержала, остановилась.

— Извини, сынок, ноги не слушаются. Дальше не могу идти. Ты иди, а я вслед посмотрю. Поцелуемся, и иди, — мать Человеческая обняла его, крепко поцеловала. — Коль выпросился, меч не прячь, держи обнаженным! Не срами наш род, род пахарей и воинов! Башкины смело бились с германцами. Сам царь вручал им Георгиевские кресты за особую храбрость! Конечно, не такой я тебе судьбы желала, другой, чтобы пошел в отца, был пахарем и сеятелем. И из добрых хлеборобских рук кормил люд православный. Но что делать? Война есть война. Прощай, сынок! Благословляю! Возвращайся в дом. Даже калекою, — она осветила его ласковою улыбкою. — Обиды не затаю.

Александр тоже обнял ее за плечи и поцеловал.

— Не волнуйся, родная. Все будет хорошо. Не каждого на войне убивают.

— Это я уже слышала. Иди. С Богом, — она перекрестила его.

Александр в последний раз посмотрел на мать. Посмотрел с небывалою нежностью. Она была как святая в своей крестьянской простоте. Как сама правда, и сама вечность. И сама Русь. Одета в наглухо застегнутое темно-голубое платье, платок низко опущен на лоб. В облике жило величие. И своя женская красота. Но глаза, наполненные слезами, несли неостывающую, неотмолимую боль. Было трудно, горько

покидать ее. Стоило большого усилия, повернуться и зашагать в разлуку, в неизвестность. Возможно, даже в смерть. Но идти было надо.

Он взял ее смиренно-послушные руки, поцеловал. И быстро пошел.

Но не выдержал. Оглянулся.

Матерь Человеческая не уходила, стояла одна, среди луга, цветов и трав, озаренная прощальными лучами заходящего солнца; во всей своей женской загадочной красоте и печали. Ее бледные губы неслышно шептали: «Господи Иисусе Христе, мать пресвятая Богородица, почему не отвели беду, пустили врага на Русь? Заступитесь за сыновей, услышите мои слезы, выстрадавшие в безмужье и печальном одиночестве».

Защемило сердце. Сын как услышал ее молитву и теперь не знал, как снять печаль, усмирить тревогу, развеять ее скорбь. И страдал.

— Знаешь, Иван, ты тоже иди домой, — тихо попросил он.

— Провожу, тут недалеко, — не в лад отозвался старший брат.

— Я сказал, иди! Матерь проводишь. Ужели не видишь, как тяжело ее сердцу?

Теперь он шагал в Мордвес один, шел по меже луга, по извилистой тропке, по которой ходил в школу, и в дождь, и в снежные бураны, потом на работу. Дойдя до большака, остановился, окинул деревню Пряхино прощальным взгля-

дом. Она одиноко лежала посреди земли и леса, привольно затерянная в лугах и полях, никому не видимая, никому не известная. Но как она была несказанно мила сердцу. Как сокровенно прекрасна в своей обычной деревенской простоте и красоте, в своем домашнем уюте. Все радовало и волновало: и эти бревенчатые избы на взгорье с чарующе-чудесными яблоневыми садами, огородами, прикрытыми жердяными изгородями, и эти колодезные журавли, и эти риги и гумна с непролазною коноплею, страшно и пленительно манящие неизведанностью, своим таинством. И эти березовые рощицы с песнями иволг, и эти старинные дороги, пришедшие из далеких времен, вдоль и поперек истоптанные копытами коней, изъезженные колесами телег и полозьями саней, исхоженные его предками и в лаптях, и босыми, залубенелыми ногами. И эти с милым, загадочным раздольем пашни, где извечно ходили пряхинские мужички за деревянными рогатыми плугами и сохами, и он сам, с семи лет, не стыдился пахарского труда. Где, еще не остыв, густятся в воздухе их песни, их смех и слышен ветровой шелест красных рубах-солнц неутомимых косцов, нарядных сарафанов женщин, жнущих серпами рожь. Хороши таинственные раздумья ив и берез на берегу реки Мордвес, с россыпью крапивы и лопухов на крутогоре, которые каждое утро стоят в целомудренной росистой красоте. От всего неволью, в гордой приятности, замирает душа. Деревня, скрытая сумерками, остывающая после забот и хлопот, смотрит грустно и прощально. В избах горят

огни. Кое-где из труб идет дым. Далеко-далеко за рекою, за белым густым туманом скрылся его дом. И терем его девочки Капитолины, с кем он так и не попрощался. Печально, печально! Так хотелось заглянуть в ее ласковые глаза, изловить солнечный лучик, наполнить себя миром любви и жертвенно бы нести по жизни ее светлый, целомудренный облик, не страшась битв и смерти. И земной сиротливости. Они бы и расстались на поле битвы вместе, в одночасье, со всем земным и сущим, поскольку юная красавица-пахарка жила бы в его сердце. Но пряхинская невеста, нареченная Богом, еще не услышала в себе любви. Скорее всего, не услышала! И это тоже было печально! Печально!

Он может больше сюда не вернуться. Возможно, на том лютом побоище его ждет смерть, вечное прощание с миром. И, конечно, на щите в Пряхино не принесут. Что ж, он сам выбрал путь гибели и путь надежды. Выбрал сознательно. Он русич! Он воин! В нем живет сила и праведность России, ее исконный гордый дух. Почему и возносит себя на крест. А где умрет, в отчем доме или на поле сечи, под гусеницами танка или перерезанный пулеметною очередью, и где будет похоронен — в братской могиле или в густой и высокой траве, как в зеленом саркофаге, под песню иволги и перезвон голубых колокольчиков, это уже таинство небесных сил.

Он ни о чем не жалеет.

В соборном согласии поднимается за Русь рать неисчислимая.

Он тоже сел в лодию с дружиною. И с великими русскими князьями — Олегом, Игорем, Святославом, и, несомненно, с князем Божею. Он тоже оттуда, оттуда, где была и билась за себя древняя страдальица-красавица Русь.

Милая крестьянская родина!

Прощай, прощай! Как хороши были над твоими древними полями хлебные и медовые ветры.

Глава четвертая

ЗАЧИСЛЕН В ТУЛЕ В КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПОЛК, ПОЛК ПРАВЕДНИКОВ И ЖЕРТВЕННИКОВ

I

У Мордвесского райкома партии уже толпился народ. Добровольцы пришли одни, без жен и любимых девушек. Все попрощались дома, наскоро. Зачем удлинять печаль и страдание, оглашать в тревоге притихшие доли и пашни излишним женским плачем? И плачем горевестниц!

Стояла святейшая тишина. Только в сквере, в святилище белоснежной сирени, где пили самогон, грустно-загадочно играла гармонь, и невольно, сладко и чувственно, тревожила душу, неумолимо и настойчиво напоминала о вечно-изумительной красоте жизни и, конечно, о смерти, и звала, звала за поля с гуляющим колосом, за луга, за ветры, где жило эхо, жило таинство. В самое сокровенное, в мир любви, но

не битв.

Неведомое тревожило.

Смерть страшила.

По правде. Но правда жила в затаенности.

Все, кто пришел, были строги, суровы. Задумчиво курили, задумчиво слушали ночь и музыку. И было о чем мучить, тревожить сердце. Шла война. Вернутся ли?

Все окна двухэтажного здания райкома партии освещены багрово-мглистым светом — горели керосиновые лампы. Движок работал только до полночи. Окна не зашторены. Вражеские бомбардировщики еще не летали над Тулою, Веневом и Мордвесом. В круговороте дел, когда дорога каждая минута, райком партии нашел время поговорить о жизни с каждым добровольцем, кому суждено было влиться в Тульский коммунистический полк.

Очередь шла медленно.

Александр спокоен и радостен. Жил в замирении с собою и с миром. Но внезапно острая, необъяснимая тревога овладела им. Особых причин не было, и он терялся в догадках: откуда с таким повелительным упорством зреет и нарастает ощущение тревожности, неприютности и одиночества? Чувство одиночества и чувство тоски еще можно объяснить. Он расстался с родными. И душа не может не страдать. Он и в самом деле теперь один. Один со всем миром. С матерью был вместе. И с братьями тоже. Это родственное единение давало ощущение близости, человеческого уюта на зем-

ле. Теперь получилось отсоединение. И, естественно, чувство тоски, неприютности неизбежно.

И все же тревожность была!

Злая тревожность!

Откуда?

И понял, не все выходили из кабинета секретаря райкома партии, по величию, с радостью, что зачислены в Тульский коммунистический полк. Были и те, кто выходил мрачным, злым, прятал лицо от стыда, смотрел вокруг, как пьяный, неуклюже и нелепо раскачиваясь, не скрывая боли и печали. И зло, наотмашь взмахнув рукою, а то и со слезами, быстро, скорбно, тяжелыми шагами покидал приемную. Становилось ясно, не прошел. Жил без строгого закона в себе. Насобирав полный короб грехов. На исповеди грехи апостолы не отпустили.

Вот откуда шла тревожность! И очень злая тревожность. Не возьмут, точно убьет себя! Не переживет отказ, отречение от битвы, от Руси как ее праведник, жертвенник и заступник!

И как будет жить на деревне?

Каждый будет указывать пальцем, как на прокаженного!

Вот откуда шла невыносимо злая тревожность!

Секретарша Нина Акимовна, стареющая, но еще красивая женщина, ободряюще посмотрела на Башкина:

— Проходите. Ваша очередь,— и открыла дверь.

Он вошел робко, слегка исподлобья, настороженно оки-

нул взглядом членов бюро райкома. Они сидели за длинным столом, накрытым зеленою скатертью, кто курил, кто перебирал бумаги, кто с любопытством смотрел на юношу.

Первый секретарь Петр Васильевич Пенкин попросил представиться.

— Башкин Александр Иванович, инспектор банка.

— Возраст?

— Восемнадцать лет.

— На фронт идете добровольно?

— Так точно!

— С матерью советовались?

— Благословила.

— Знаете, что вас ожидает?

— Я готов умереть за Родину, товарищ секретарь райкома партии, — подтянувшись, отозвался доброволец.

Петр Васильевич поиграл карандашом:

— Умереть за Родину, юноша, ума большого не надо. Сводки Информбюро несут тревожные вести. Русское воинство сдает город за городом, фашист подступает к Смоленску, к Вязьме! Родина ждет от вас остановить врага!

— Остановим! — сжав кулаки, заверил Башкин. — Почему и прошусь на фронт!

— Для фронта вы молоды, — не порадовал его секретарь райкома. — В армии не служили, искусство воина неведомо. Я вижу, вы умны, сильны духом, несете в себе честь и дисциплину, но одна храбрость вам не поможет.

Александр встрепнулся:

— Я не был в армии, но готовил себя к защите Отечества! В Досаафе я научился метко стрелять из самозарядной винтовки Токарева, из пулемета Дегтярева. Тир в Мордвесе посещал постоянно. Далеко и метко бросаю гранаты. Имею значок «Ворошиловский стрелок». Им награждаются самые меткие и достойные. Участвовал в марш-броске. Показал завидную выносливость. Прошу зачислить в коммунистический полк, отправить на фронт. Клянусь защищать Отечество до последней капли крови, не щадя жизни.

Пристально посмотрев на юношу, секретарь райкома с улыбкою вымолвил:

— Я вижу, вы человек непоклонный! Вас не отговоришь. Что ж, как решат члены бюро! У товарищей есть вопросы?

Взял слово начальник районного отдела государственной безопасности капитан Николай Алексеевич Макаров, он без обвинительного нажима поинтересовался:

— Среди ваших родственников был кто арестован как враг народа?

Башкин невольно вздрогнул.

— Вы имеете в виду близких родственников? Отец мой Иван Васильевич Башкин был в Пряхине председателем колхоза. Выстраивая новую жизнь, тянул в четыре жилы, надорвался. Умер в декабре 1940 года. Мать Мария Михайловна знатная колхозница. Братья и сестры репрессированы не были.

Капитан госбезопасности прицельно посмотрел:

— Яков Захарович Вдовин кем вам приходится?

— Я плохо разбираюсь в родственной иерархии. Он был братом моего дедушки.

— По матери?

— По матери

— Михаила Захаровича?

— Совершенно справедливо.

— То есть родственником?

— Получается, родственником.

Капитан государственной безопасности утонченно-вежливо поинтересовался;

— Его раскулачили?

На душе у Башкина стало горько и тоскливо, чекист-Пилат погнал на эшафот, на распятые.

— Естественно, раскулачили, раз кулак! Добро, нажитое воровски, конфисковали. Сам Яков Вдовин был арестован, осужден по 58 статье. И сослан на Соловки.

— В таком случае, почему вы скрыли от Советской власти, не указали в анкете, что ваш родственник Яков Захарович Вдовин был мироед и репрессирован? — пытливо посмотрел чекист.

— В анкете сказано, назвать имя близкого родственника? А он какой мне родич?

Капитан госбезопасности со значением взглянул на секретаря райкома партии:

— При зачислении комсомольца Александра Башкина в Тульский коммунистический полк просил бы вас, Петр Васильевич, учесть факт сокрытия им о кулаке-родственнике, кого возмездием, справедливо достал меч диктатуры пролетариата. Юноша склонен ко лжи.

— Я бы не стал, Николай Алексеевич, заострять отдаленные родственные связи, — смело и неожиданно заступился вождь коммунистов. — *Деревня особое государство*. Крестьяне живут общиной. В какую избу ни загляни, отыщутся свои кровники. Не вижу здесь лжи и обмана.

— Ваше суждение не лишено смысла, Петр Васильевич — неожиданно согласился начальник отделения НКВД Марков. — Люд в деревне и в самом деле живет вместе, как огонь в светце.

Он повернулся к Башкину:

— Как я понял, вы не отрицаете, что Михаил Захарович Вдовин приходится вам дедом?

— Не отрекаюсь. Он мой дед.

— По материнской линии? — еще раз пожелал уточнить чекист.

— Да, моя мама его дочь.

— Как считаете, он не был кулаком?

— Насколько мне известно, он был пахарем! — защитил его Александр Башкин.

— Не мироедом? — начальник Мордвесского отдела НКВД зло и насмешливо улыбнулся. — Ваш дед Михаил За-

харович имел самый большой дом, выстроенный из отборного дуба! Держал стада лошадей, коров, овец. Нанимал батраков! По законам революционным и Советской власти, тот, кто наживал добро чужим горбом, считается врагом народа. И ваш дед был кулак. Почему же его не раскулачили?

— Вы у меня спрашиваете? — искренно удивился юноша.

— А у кого надо? — со значением посмотрел чекист.

— У того, кто имел право раскулачивать. У ЧК, у прокурора. Раз не раскулачили, значит, не было причин. И не могло быть. Мой дед Михаил Захарович превеликий мастеровой. Он тот, на ком Русь держалась. Он сам ходил за плугом, сам был косцом. Сам сгребал сено и возил его на скотный двор, сам ходил за скотиною. Он умел делать все: он и кузнец, и колесник, и тележник, и бондарь, плел из лыка лубяные лукошки, севалки и лапти, мог гончаром, делал кувшины. Он любил Россию, ее старину, ее печали и радости — до зависти любил, до молитвенного поклонения.

— Свою, кулацкую! — не удержался зловеще заметить капитан государственной безопасности.

Башкин растерялся. Спорить с чекистом было бессмысленно и опасно.

— Не знаю, возможно, и кулацкую, — в смущении согласился он. — Но именно дед Михаил Захарович научил меня любить Отечество, ее древность, ее историю, все, что есть на Руси великой: и березовые рощи, и пашни с колосом ржи, и даже крапиву, растущую на крутогорье в ожерелье росы.

Я и на фронт ухожу добровольцем на защиту Отечества, поскольку понял, что такое Русь, и понял именно в его сказании. Я не разумею, за что дедушку надо раскулачивать?

— Похвально, похвально, юноша, что вы так ретиво заступаетесь за близкого родственника, — не скрыл иронии чекист. — Но скажите, разве ваш отец не батрачил на кулака Вдовина?

Башкин испытал растерянность; злая, без прощения, наступательность сильного человека, сбивала его с мысли, будила боль.

— Не знаю, — тихо вымолвил он.

— То есть, как не знаете? Не знаете, работал ли ваш отец на кулака Вдовина или не работал?

— Он работал на себя.

— Значит, работал?

— Да, работал. Но отец не был батраком в классическом смысле. Он крестьянствовал, имел свое поле. Пахал его, засеивал. Но земли было с лошадиное копыто. У отца было три сестры: Евдокия, Маланья и Агафья. На женщин надель не давали. Семья же сложилась большая, одиннадцать душ. Прибытка не хватало. И отец ходил на заработки к Михаилу Захаровичу, и не только он, по осени на его угоды сбегалась вся округа. Он платил щедро, за сутки — пуд зерна! Отец трудом не гнушался, был от сохи, от земли, честен, справедлив! Почему народ и избрал его председателем колхоза.

— Ваш отец Иван Васильевич коренник земли Русской.

Добрая слава о пахаре живет и после смерти, — согласился капитан госбезопасности. — Но разве мы говорим за отца? Мы говорим за вашего деда! Если он держал батраков, то почему не раскулачен? Загадка! Не знаете ее отгадку?

— Вы уже спрашивали. Я сказал, не знаю, я только знаю, Михаил Захарович не держал батраков! Люди сами с молитвами, со слезами просились на работу! В силу чего, Советская власть посчитала его другом народа, а не врагом.

— Не исключено, — с сарказмом отозвался чекист. Он отодвинул кожаную фуражку со звездой, бережно достал из планшетки документы. — Я случайно нашел в архиве любопытный ордер, подписанный прокурором. Он выписан в тридцатые годы Тульским ВЧК. В ордере сказано: Михаил Захарович Вдовин есть враг народа, ибо имущество нажито трудом батраков, и посему имущество конфисковать, а самого арестовать и судить. И сослать на Соловки! Вот какая печаль, Александр Иванович. Ваш дед — кулак! И подлежал раскулачиванию.

Башкин снова возразил:

— Мой дедушка не был арестован, а, значит, не был кулаком! Только суд может установить, кто кулак на деревне, а кто не кулак? И за что его судить? Михаил Захарович по чести и по совести передал свое имущество трудовому народу! И имение, где было правление колхоза, и лошадей, и коров, и землю, и трактор «Фордзон»!

Капитан госбезопасности задумчиво помолчал:

— Я вижу, вы человек с умом, юноша! И сумеете осмыслить, Михаил Захарович передал свое имущество колхозу не потому, что в мгновение возлюбил народную власть, а знал, так и так возьмут. Где вы увидели благородство, юноша? Честь и совесть кулака? И была ли когда честь и совесть у кулака?

Он вдумчиво помолчал:

— Теперь я объясню вам, почему ваш дедушка не был арестован? Почему не был судим? И почему не был сослан на Соловки? *От ареста Михаила Захаровича спас ваш отец!* Он сумел убедить чекистов в невинности местного богача. И те изменили мнение о человеке, на котором, как вы говорите, Русь держалась. Ваш отец был председателем колхоза, это и решило исход дела. Ему пошли навстречу, оставили в миру кулака Вдовина под его ответственность. Но осложнения могли возникнуть в любое мгновение. И ваш отец тайною зимнею ночью подогнал вороную тройку к дому Вдовина, тепло придел и быстро-быстро отвез в санях Михаила Захаровича, его жену и дочь в Приваловку. Так что, как не крути, а получается, милочка, что вы внук кулака!

— И пора его расстрелять! — весело заметил секретарь райкома комсомола.

— И расстреляем, если потребуется! — он грозно сдвинул брови, невольно трогая револьвер в кобуре. — Что за шуточки? И последнее. В народе говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты? Вы согласны?

— Мудрость неоспоримая, — подтянулся Башкин.

— В таком случае, желаю знать, вы еще водите дружбу с Леонидом Ульяновым?

— Он мой первый друг.

Капитан госбезопасности горделиво, победоносно осмотрел членов бюро, продолжил допрос:

— Вы разве не знаете, что его отец Павел Данилович поджег амбары с зерном? И был расстрелян как враг народа в тюрьме на Таганке? Вы со смыслом выбираете так друзей? Или решили погулять в ореоле героя? Выразить любовь к оскорбленному, расстрелянному? Мол, смотрите, вся деревня отвернулась, отреклась от сына врага народа, как от проклятого, а я не предал! Один! Я человек, во мне живет жертвенная неотреченность! Я знаю правду! Пахарь от земли и плуга не мог поджечь ригу! Зачем ему? Безвинного расстреляли чекисты. Я знаю, а вы, деревня, не знаешь! Вы толпа! Бесстыдная и злая, раз отреклась от человеческой боли. Надо верить в человека, в его боль и правду.

Он помолчал.

— Поясните, ваша клевета на чекистов, Советскую власть, наконец, храбрость от Бога? Или от безмудрия?

Башкин уже понимал: канаты обрублены, паром устремлен в половодье реки; его не зачислят в коммунистический полк. Печально! Но себя и друга Леонида он в обиду не даст.

— Вы, товарищ капитан государственной безопасности, красиво изложили мои мысли! *Но то ваши мысли, ваши, а*

не мои! Я совершенно так не думал, и не думал клеветать на чекистов и Советскую власть, и не слышал себя героем, а, скорее, слышал себя человеком, что не предал друга в беде, не разладил дружбу. И не вижу в том ничего порочного, товарищ Сталин сказал: сын за отца не отвечает.

— Разумно, разумно, — серьезно отозвался чекист, невольно подтянувшись, поправляя портупею с кобурой. — Мы помним святые слова, сказанные великим товарищем Сталиным. И все же выбирать друзей следует разумнее, если сами не желаете оказаться в тюрьме.

Башкин не сдержал себя:

— Вы клянете и клянете друга Леонида Ульянова в каждом смертном грехе, а он первым принял удар фашистов в Белоруссии, и теперь отчаянно, под пулями и бомбами, бьется не на жизнь, а на смерть, защищая Русь святую. Он воин Отечества! И я горжусь им. И завидую ему.

Офицер НКВД дал себе волю:

— Ваш друг Леонид Ульянов, сын врага народа, уже сдал Белоруссию фашистам! Враг подступает к Смоленску, рвется к Москве! — лицо его стало жестким, бледным. Глаза смотрели бешено и угрожающе. Сам он обратился в грозу, в камень. Но быстро спохватился, взял себя в руки. Снова стал важным, горделивым.

Повернулся к членам бюро:

— Не знаю, станет ли важною моя колхозно-кулацкая летопись, но обнажить ее я был обязан по долгу службы.

Возникло угрюмое молчание. Его нарушил председатель райисполкома Юрий Сергеевич Кедров:

— Да, надо все обдумать. Тульский коммунистический полк — военная святыня. В гордую, праведную рать должны влиться люди чистые и честные.

Встал секретарь райкома комсомола Моисеев.

— Я не понимаю, кого мы судим? Если великий Сталин сказал, что сын за отца не отвечает, то почему должен отвечать внук за деда? Он что, был раскулачен, арестован, судим? Зачем же списывать его во враги народа? Имеем мы право без суда определять степень его вины? Бездоказательно обвинять? Отвергать его житие? Я знаю Михаила Захаровича Вдовина. Был зажиточный мужик, да! Первый книгочей в округе, вольнодумец! Не исключено, и наживался на крестьянском труде! И что он теперь? Несет обиду на Советскую власть? Взял обрез и ушел в банду в леса? Нисколько! Работает конюхом в колхозе в Приваловке, осудил прошлое. И вместе с народом строит коммунистическое общество! Над чем мы должны подумать, Юрий Сергеевич?

— Ждете ответа?

— Настаиваю. Платон мне друг, но истина дороже, — он галантно поклонился.

— Сами не можете ее осмыслить? — укорил без милости и пощады.

— Не могу. Мой далекий прапрадед Иван Моисеев был стрелцом. И шел бунтом на государя всея Руси Петра Пер-

вого. И был казнен. Как враг народа. Что ж, казните и меня! Я праправнук великого мятежника!

Секретарь райкома партии Петр Пенкин внушительно постучал карандашом.

— Потише, потише, разошелся. Так бы работал, как ораторствуешь. Дал в добровольцы трех комсомольцев и уже в бубен бьешь, как скоморох на ярмарке.

— Но зато, какие добровольцы! Три богатыря, с картины Васнецова! Ратниками бились бы за Русь святую на Куликовом поле! — неунывающе отозвался Моисеев.

— Я согласен с вождем комсомола, — выразил свое мнение военный комиссар Клинов. — Война всему научит, все простит. Мы все граждане одной державы: и наши деды, и мы. Зачем делиться на красных и белых? Тем более, когда Отечество в опасности. Александр Башкин смел и честен. Будет хорошим воином!

Секретарь райкома партии в раздумье произнес, и больше для себя, чем для членов бюро:

— Юноша рвется на фронт, он полон решимости защищать Отечество, ему бы низко поклониться за желание отстоять его. Или умереть. А мы шлем проклятья его деду. Где логика? Здравый смысл? Никакой любви к своим героям, Родине. Полагаю, было бы неосмотрительно не поддерживать благородные устремления юности. Но, вместе с тем, раз возникли сомнения, надо еще раз все вдумчиво осмыслить. Мы даем путевку в коммунистический полк, а не в га-

рем к царю Соломону! — Он позвонил в колокольчик.

Вошла секретарша.

— Кто следующий?

— Василий Сивков. Из деревни Оленьково. Член партии.

Тракторист, есть награды.

— Просите, — взглянул на Башкина, не скрыв усталости.

— Побудьте в приемной. Мы вас вызовем.

Александр посмотрел на багровое пламя лампы, с ровным колебанием горевшее в плену закопченного стекла, на лицо первого, окинул скрытым взглядом членов бюро райкома партии, медленно вышел из кабинета. Вышел растерянный, измученный неожиданными допросами, холодея от мысли — не прошел. Ожидание не сулило ничего хорошего, утешительного. Да, не зря он тревожился! Не взяли, отвергли! Обесчестили перед Отечеством! Неужели так и будет?

Его охватил ужас. В сердце зрели гнев, негодование. За что? За какую вину? Куда пойдет, если не возьмут? К реке, к омуту? К петле? Скорее всего, обратно домой. Примут его, униженного, оскорбленного, отверженного? Со стыда сгоришь. Мать уже простилась, свыклась с разлукою, одиночеством. Благословила на битву. На защиту Отечества. И даже на смерть. Как воина. А он заявится согбенный, с жалкою, виноватою улыбкою. Не вздрогнет ее сердце в новом страдании? В оскорбленной печали? Посылала на фронт как человека, а он вернулся бродягою! Всеми презираемый, отверженный! Зачем растила? Для горечи? Мук? Слез? И как

он станет жить с матерью? Только непримиримо? Как чужие миры во вселенной? Она не простит! Моли не моли о пощаде. Он обманул ее веру, ее надежду. В сына!

Со временем, возможно, смягчится, измучив себя бедою. Вновь понесет ему любовь и нежность. Но будут ли они от сердца, с прежнею, целомудренною силою? Не станет ли горестной обманности в ее любви? Боль не отпустит ее. Будет жить, в глубине души, в затаенности. И будет мучить, мучить. И сам, как он будет жить? При его гордом характере? Будет он теперь, живя одинаково болью, стыдом, униженностью, будет он теперь гордо и сладостно видеть, как колосится рожь в поле, как светят звезды в небе, задумчиво стоят березки? Как людям станет в глаза смотреть? Любимой? Как, если сам будет жить в страдании и отчаянии? И слышать до могилы в себе стоны, проклятия и печали, и свои, и матери. Смерти запросишь.

Трудно, бесконечно трудно представить себе, что будет, если не возьмут на фронт! Нет ничего страшнее, если Родина отвергнет тебя, своего сына.

Он стоял в коридоре, думал и смотрел в окно. Уже светало. Разгоралась заря. Она несла в мир красоту и благоденствие. В его же глазах стояли слезы.

Плачет он.

Плачет Отечество.

Почему они в горе разделены?

Башкин не заметил, как подошел первый секретарь рай-

кома комсомола, весело пощелкал пальцами:

— С тебя причитается, Сашок!

— Не томи, — со слезами потребовал Александр.

— Зачислен в коммунистический полк! Но сам понимаешь, окончательное решение примет обком партии. Все будет хорошо! Ну, сражайся! Славь Мордвес, Родину.

Прощаясь, не разжимая рукопожатия, Николай Моисеев задумчиво произнес:

— Вот так и живем, братка. Не берут на фронт, плачем, идем на смерть — радуемся. Кто поверит через сто, двести лет, что мы так жили. Но жили именно так. Ибо очень любили Родину.

II

Утром с первым поездом отряд добровольцев из Мордвеса через станцию Узловая отправился в Тулу. С Ряжского вокзала шли строем до центра города под командою офицера военкомата Сергея Воронина. Расположились на площади у обкома партии, на проспекте Ленина, 51. Площадь заполнена людьми до отказа. Здесь рабочие оружейных заводов, горновые домен Косой Горы, машинисты паровоза, шахтеры, слесари депо, офицеры милиции, актеры драматического театра. Все добровольно пришли записаться в Тульский коммунистический полк, готовые ценою жизни защитить страдальцу Россию. Грозная сеча-битва уже чувствовалось. По

дорогам Тулы по печали двигались беженцы, женщины и дети, старики и старухи. Слышался русский, польский, белорусский говор. Ехали на подводе, на велосипеде, шли пешком, несли чемоданы и рюкзаки, катили повозки, нагруженные домашним скарбом, все, что могли взять с собою, покидая разбомбленные, разрушенные дома, объятые пожаром.

Подъезжали санитарные автобусы, у госпиталя живо, суетливо выгружали раненых бойцов. Сюда же раненные ехали на телеге. Шли соборно, опираясь на костыли, с трудом поддерживая друг друга. Бинтовые повязки на голове, на груди были красны от крови. Глаза смотрели грустно: прежняя праведная ярость истаяла, ушла в испуг, в недоумение перед жизнью и смертью.

— Неужели так близко война? — удивился Николай Копылов.

— Как видишь, — задумчиво отозвался Башкин.

Они сдружились и теперь были неразлучны.

Мимо проходила пожилая, иссушенная горем женщина, катила перед собою детскую коляску. Копылов остановил беженку.

— Мать, как там? — спросил по боли.

— Жутко, сынок. Фашист во всю свирепствует в Белоруссии. Убивает, жжет хаты. Дьявольское племя пришло на Русь, беспощадное. У меня дочь убили. Изнасиловали скопом и убили. Обнажили ее и, смеясь, надругивались. При мне, милый. Жутко! Жгли ей груди. Затем распяли на березе

и расстреляли. Окаменела я, отяжелела от слез, от страшной, скорбной правды. Ничего не слышу, ни себя, ни земли, ни неба, ни голоса человеческого, ни голоса Божьего. Ты, милый, прости, как призрак передо мною, издали, как с того света говоришь. — В коляске заплакал ребенок, она нагнулась, поправила одеяльце. — Везу дочку мученицы, внучку свою, к спасению. А где оно? Не ведаю.

— Как зовут красавицу?

— Олеся, — женщина пошла дальше по проспекту Ленина.

Александр Башкин остановил ее:

— Подожди, мать. — Догнал ее, положил в коляску пироги, сахар, в свертке домашнее сало, что насобираала ему в дорогу Мария Михайловна. — Пригодится в дороге.

— Спасибо, милый, — низко поклонилась женщина, с любовью перекрестила. — Дай Бог здоровья и долгой жизни!

— Даст, не отрекусь, — он погладил по головке малютку Олесю. — На фронт иду, мать, врага бить! Хочу дожить до народной радости! Горько и печально будет, если звезда моя истает в небе раньше.

Женщина вдумчиво посмотрела на Александра. Попросила руку, изучила ее. И дала поцеловать икону святой Богоматери.

— *Переполнен скорбью твой путь, милостивый человек! Но до победы доживешь! И ордена вижу! Колдунья-пророчица я, верь моему слову. Ты не оставил в беде беженку, Бог*

не оставит в беде тебя, он сам мученик-беженец, кого распяли звери на распяты!

И женщина, была, не была, повезла детскую коляску с Олесею дальше.

Александр в задумчивости постоял. Вернулся к другу:

— Война только началась, а уже, сколько мечется в диком вихре над землею Русскою человеческого горя!

III

Члены бюро Тульского обкома партии беседовали с добровольцами в здании областного драматического театра имени Максима Горького. Ожидание всегда томительно. Но вот на парадное крыльцо вышли командир стрелкового корпуса Тульского гарнизона Иван Бакунин и секретарь горкома комсомола Евдокия Шишкина. Генерал строго оглядел площадь, вмиг притихшую, замершую от людского говора, смеха и песен, подозвал к себе офицера Воронина:

— Из Мордвеса?

— Так точно!

— Ваша очередь!

Взяв чемоданы и рюкзаки, братва беспорядочно устремилась в здание театра. Члены бюро расположились на сцене. Вызывали по очереди. Александр Башкин шел седьмым по списку.

Он шагнул на сцену, как на эшафот. Тревожность изму-

чивала необоримая; поселилась в душе злою, нежеланною змеею-самозванкою и никак было ее изгнать. Больше всего он боялся, не позвонил ли в Тульское управление НКВД капитан государственной безопасности Николай Макаров, не ссыпал ли горстями лжи в его сторону, не осквернил ли его чистую, целомудренную безвинность, став Пилатом? И не вынесен ли уже приговор? Такое раздумье и тревожило печаль, обреченность, гасило дивную светлынь в сердце; еще не взял винтовку, не поднялся в атаку, а уже печали, печали.

Он даже слышал, стоит у гильотины, с палачом, и ощущает холодное острие топора.

Судьями собралась вся верховная власть: первый секретарь обкома партии В. Г. Жаворонков, второй секретарь А. В. Калиновский, председатель облисполкома Н. И. Чмутов, начальник управления НКВД майор государственной безопасности В. Н. Суходольский, первый секретарь обкома комсомола М. С. Ларионов, военные, седовласые рабочие — с Косогорского металлургического завода, с оружейного, от шахт Мосбаса. Соборность превеликая.

Василий Гаврилович Жаворонков одет в офицерскую шевиотовую гимнастерку, подпоясанную широким ремнем, на груди сверкали ордена Ленина и Красного Знамени. Высок и широкоплеч, кость крестьянская, щеки выбриты до синевы. Лицо утомленное, но глаза живые, движения властные, спокойные.

Он вдумчиво посмотрел на юношу:

— Как прикажете вас величать?

— Башкин Александр Иванович.

— Кем работали?

— Пахарем в колхозе, в Пряхино, затем финансовым инспектором в банке Мордвеса.

— Какова семья?

— Мать, братья и сестры.

— Не потеряют они кормильца?

— В семье трудятся мать и братья.

— Идете добровольно? — продолжал заинтересованно спрашивать Жаворонков.

— Так точно, товарищ секретарь обкома партии! — подтянулся Александр Башкин.

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

— Не преувеличиваете возраст?

Башкин покраснел, удивившись его отеческому вниманию, его прозорливости.

— Скоро будет, — поправился он.

— Так желаете на фронт?

— Очень желаю, — кивнул он.

— И сумели осмыслить опасность, какая грозит? Ведь война, могут убить.

— За смерть пока не думал! И зачем? Философы уверяют: когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, мы уже не существуем!

Секретарь обкома улыбнулся:

— Эпикура читаете?

— Дедушка был на деревне книгочеем, жизни учил. И любви к Отечеству.

Василий Жаворонков прогулялся:

— Вам прямо с поезда, с колес, придется вливаться в битвы, сдерживать танковую армию Гудериана, отборные дивизии СС «Тотен Копф». Вашему полку выпало преградить путь крестоносцам-завоевателям к Туле и Москве. Ценою жизни, сынок, жертвенно!

— Наказ партии выполним! — подтянулся Башкин. — Все века стоит Тула на страже Русского Отечества! Ужели позволим фашисту топтать Тулу! Русский солдат не позволит, товарищ секретарь обкома! Сами придем в Берлин!

Василий Гаврилович вдумчиво заметил:

— Хорошо, сынок, очень хорошо, что в вас живет такая убежденность. Я тоже верую в жертвенность русского солдата. И в победу!

Он взглянул на помощника Барчукова:

— Направление от Мордвесского райкома партии на юношу имеется?

— Так точно, Василий Гаврилович.

Теперь он с прищуром посмотрел на членов бюро, заглянул в глаза каждому седовласому рабочему:

— Как, товарищи, доверим юному воину Россию?

Послышались голоса:

— Доверим.

— Молодцом смотрится.

— Вожак комсомола в Мордвесе!

Жаворонков тепло положил руку на плечо Александра:

— Воюй, сынок. И береги себя. Пусть мать в горе не плачет над твоею могилою.

Сказано было с тихою грустью и со скрытою болью. Секретарь обкома с жестокою ясностью понимал, юношу-воина на гибель. Его и все ополчение. Но другого выхода не было. Просто не было. Они, мальчишки, должны были приостановить у Смоленска фашистское воинство. И жертвенно пасть на поле битвы. Во имя России, любви и свободы. Так им выпало. По воле судьбы. По воле рока. По воле богов. Больше было некому остановить танки Гудериана. Только им. Только собою. Армии сражались в окружении. Он бы у каждого, у каждого прилюдно попросил прощение, даже коленопреклоненно, ибо слышал свою вину и свою боль, что посылает на смерть красивую поросль земную. Но расслабляться было нельзя!

IV

Его друг Николай Копылов тоже был зачислен в Тульский добровольческий коммунистический полк. Журналиста газеты Николая Пекина не взяли. Не взяли из-за зрения! Горечь отказа сильно расстроила юношу. Он испытывал откоро-

венную печаль и тоску, его мучило ощущение сиротливости, было горько, было очень горько, что его назвали лишним на пиру битвы за Отечество. И, несомненно, несомненно, слышал себя предателем Отечества! И теперь, прислонившись к тополи, сильно плакал. Александр Башкин, как мог, успокаивал печальника; было жутко видеть, как отчаянно горько плачет мужчина.

Тракторист Вася Сивков, которого тоже не взяли из Мордвеса как добровольца, напротив, был весел и беспечен.

— Навоюемся еще! Хе, хе, рот в сметане, сам в грехе. Какие наши годы? Была бы оказана власти честь, а в пекло сдурю зачем лезть?

— Скажи, поджилки затряслись, — прямо осудил его Копылов.

— И затряслись, если честно, — не стал скрывать земляк. — Видели, толпы и толпы везли из-под Смоленска раненого брата, слезы, печали, стоны, все залиты кровью — и в груди заломило. Не моя это работа, война! Я хлебороб и сеятель; солнце всходит, рожь подходит, трактор жать ее выходит, — скороговоркою выговорил он, доставая бутылку с самогоном, отпивая несколько глотков.

Налил в стакан Башкину:

— Угостись первачком, банкир! Я помню, с каким трудом ты мне, комсомольцу, ссуду выбил на строительство дома! Мы доброе не забываем.

— Не пью, дружба,— вежливо отказался Александр.

— Ты, земляк? — он подал стакан с самогоном Копылову; он тоже принял отречение. — Не печалюсь. Переживем. Самому больше достанется.

Он посмотрел на журналиста:

— Плакальщиц не ценю, им не подаю. Нище говорил, кто по жизни слаб, тот по жизни раб!

Выпил сам:

— Вижу, сердитесь. Не в чести я у вас, — он закусил хлебом и салом. — Конечно, вы теперь воины Руси великой, а я кто? Эх, эх, вам хорошо, вы холостые, ножевые, ни супружницы, ни бегунков мал мала меньше. Убьют, кто плакать станет?

— Мать опечалим, — тихо уронил Башкин.

— Мать, конечно, серьезно! Но мать — женщина, она вечно в тревоге, и с сыном, и без сына. Такова ее земная быль! От Бога! Она святая, а мы, ее сыновья, вечные грешники, блуждающие странниками по роковому лабиринту жизни. Нам бы рваться к солнцу, как Икару, где жизнь, а мы, непутевые, все там, где стонущие метели, и смерть, смерть! Как матери не тревожиться? Мы ее плоть. Разрушим себя, разрушим ее.

Он выпил самогона:

— Признаться, я крови с детства боюсь. Курице не могу голову отрубить. Убегаю, когда сестра берет топор и волочет ее за крыло бесстрашно на пень. Сильно, сильно сострадаю мученице-жертвеннице. Так печалюсь, себя теряю! Больно

слышать ее предсмертное кудахтанье, ее мольбу о пощаде! И рассудите, какой из меня вояка? Убийца? Однажды сам возвел курицу на лобное место, а она возьми и вырвись. И долго-долго летала по двору, без головы, пока не упала. Жуткое зрелище! Меня весь вечер водою отливали. Воином, земляки, надо родиться! У каждого на земле свое призвание: тот встал у пушки, этот у пера, как разумно заявил поэт Сергей Есенин! Я, как видите, у сохи! Если я от курицы испытываю, слезы и омрачение, то, как видеть человека с отрубленной головой, что бегаёт по полю битвы? Крестом на землю упаду, слезами зальюсь в бессилии! Расстреливай, не поднимусь! Какой от меня Родине прок на поле сечи?

На поле битвы за хлеб — я там, где надо! Когда я вывожу трактор на пашню, опускаю острый лемех в землю, во мне просыпается молитвенное песнопение! Я землю сердцем чувствую! И колос ржи сердцем слышу, как живую, стонущую плоть! И какое ликование просыпается в душе, как играет заливи́стая гармоника, когда колос по милости начинает на молотилке отдавать, ссыпать полновесное зерно в суму народную. И потекли, потекли караваны хлеба людям! На этом вживую стоит жизнь, Русь!

А смерть за Родину, что это такое? Поверите, не поверите, а ей, благословенной, совершенно безразлично, убьют Василия Сивкова, не убьют! Благословенная даже не заметит меня убитого, лежащего в пыли и крови, не всплакнет, не зарыдаёт, не склонит ветки берёз на мою могилу. Она безжиз-

ненность. Символ. Молчаливая святыня, — продолжал философствовать Сивков, не забывая отхлебнуть из бутылки самогонки. — Это к красивому слову говорят: Родина-мать, а какая она мне мать? Она что, кричала от мук, когда я проклевывался на свет? Тянулся к солнцу? Мать мне Василиса Ивановна, в ком я и стал завязью, человеком.

— Стал ли? — усомнился Копылов.

— Сомневаешься? Потрогай. Присутствую на земле. Мать дороже живая, та, которая по правде! Та, которая с чувствами, с молитвами, со слезами. Она за провинность и оглоблею крест-накрест вознесет, уму подучит, а завершится безумие, посмотрит на сына обиженного, плачущего, в жалости обнимет, боль и печаль смирит! Я слышу мать Человеческую! И мать Человеческая слышит меня!

Ушел я на битву, убили, кому станет страшно? Родине? Прав вожак комсомола Башкин!

Копылов брезгливо посмотрел:

— Красиво подвел. Прямо Змея-принцесса! Корону ему, корону на царствие Руси!

И гневно произнес:

— Скажи прямо, трусил, и нечего с сатанюю кадрили на вечерке у реки Мордвес выплясывать!

Философ от Ницше Сивков злобою не вскипел:

— Дурни вы, я вам о слабости характера, о красоте души, *которая не принимает убийств*, а вы меня огульно спешите в Иуды списать, без пощады и милосердия.

— Мы, значит, палачи? Убийцы? — продолжал в ярости тревожить себя доброволец.

— Зачем? Вы тоже не убийцы. Но вы сильнее меня, — честно признался он. — *Я знаю древнюю Русь, и вижу, вы воины! Воины-русичи! Вы явились на Русь с мечом и с гербовым щитом! В вас крепь князя Олега, князя Игоря! Вы вешали щит на стены Царьграда, плыли со Святославом на лодии по Днепру, гнали разгоряченного коня в Дикую степь, бились с половцами, со скифами. С великим князем Владимиром Красное Солнышко крестили Русь; часто, часто по звоннице Киевской Софии, спасали Отечество, а я кто? Вы же знаете, какие были на деревне кулачные бои! Кто был первым в Пряхино в кулачном бою? Александр Башкин! Тонок и гибок, как тростник, а стоек немислимо, его все ценили за бесстрашие! А я? Вышел на кулачный бой, и с первого удара лечу на землю. И на войне так будет. Ужели вам не жалко слабого человека, а земляки?*

Из обкома партии вышел и быстро подошел к добровольцам офицер военкомата Сергей Воронин.

— Все, други! Документы на вас оформляются. Вы передаетесь командованию Тульского гарнизона. Желаю сдержать фашиста, вернуться живым!

Он каждому добровольцу вдумчиво, отечески пожал руку. И небрежно кивнул Пекину и Сивкову:

— Вы же, пустоцветы, со мною на вокзал. Полетим обратно в Мордвес сломанными стрелами Робин Гуда.

Друзья посмотрели им вслед,

— Жалко Колю Пекина. Верую, был бы боец-храбрец, — грустно уронил Копылов.

— Сивкова? — тихо спросил Башкин.

— Он сволочь! Зачем ему Россия? Была бы самогонка да жаркая жена в постели. Еще философию Ницше под свою жизнь Иуды подвел.

— Как же он в добровольцы записался?

— Погеройствовал с горячки. Как никак с партийным билетом. Увидел в Туле близкую смерть, дал отступного. Порода такая, скотская! Он и в деревню Оленьково вернется героем. Обвинит обком партии, отпетые чинуши заседают! Фашист бомбит, жжет Россию, страдалица в беде, в печали, я рвусь на битву, Родину защищать, а мне, воину Руси православно́й — отказ. Такая власть! И народ ему изольется слезою, сочувствием! Как же, велико надругались над пахарем и воином Руси! Он к моей сестре Катерине сватался. Печальная личность! Он и в партию вступил, чтобы жить выгодно.

Тульский добровольческий коммунистический полк был создан с 24 по 27-е июня 1941 года. Все, кто прошел чистилище обкома партии, были собраны в зале Оружейного училища, где ополченцев постригли, вымыли в бане, сытно покормили. И отправили колонною с офицерами военкомата на Косую Гору, в полевой лагерь. Всего насчитывалось три тысячи добровольцев. Создано двенадцать рот, в каждой по

250 воинов. Командирами рот были назначены старые большевики, кто воевал в Гражданскую.

В лагере воинам выдали гимнастерки без знаков отличия и польские плотные темно-синие галифе. С зарею начались занятия, вели преподаватели Тульского оружейного училища. Изучали пулемет Дегтярева, ротный миномет, самозарядную винтовку Токарева, гранаты. Совершали марш-броски на сорок километров. В Туле несли патрульную службу по охране революционного порядка, задерживали шпионов, провокаторов-сигнальщиков, охраняли военные заводы.

14 июля в распоряжение лагеря прибыл секретарь Тульского обкома партии Василий Гаврилович Жаворонков.

Он прошел перед строем, внимательно вглядываясь в лица добровольцев, сурово произнес:

— Воины России! Фашистские орды прорвали фронт южнее Смоленска. Теперь им строго надо окружить и уничтожить древний город, для чего в Ярцево высажен десант с громовыми орудиями и танками. Приказом Государственного Комитета обороны и лично Сталина Тульскому коммунистическому полку предписано ликвидировать десант и тем защитить Смоленск, а, значит, Тулу и Москву. Желаю победы!

В ночь на 15 июля, поднятые по тревоге, добровольцы Коммунистического полка отправились в Тулу на вокзал; шли колоннами, без песен, строго и молчаливо.

Слегка моросил дождь.

Вдали гремел гром, сверкали молнии.

Слышно было, как надрывно, сиротливо гудел на станции паровоз, тревожно и таинственно напоминая о расставании, о разлуке.

С миром любви.

С миром добра.

С миром, где жил праздник жизни.

Глава пятая

ДОРОГА НА ФРОНТ БЫЛА СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ДОРОГА НА ЭШАФОТ. ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ. ПЕРВАЯ СМЕРТЬ. ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ

I

На перроне Ряжского вокзала грустно играла гармонь.
Слепой солдат пел:

Начинаются дни золотые
Воровской, непродажной любви.
Крикну, кони мои вороные,
Черны вороны, кони мои.

Рядом стояла девочка-поводырь, худенькая, с двумя косичками, со старою шляпою в руке, и тоненьким, надломленным голосом, трогательно подпевала:

Мы ушли от проклятой погони,
Перестань, моя детка, рыдать.
Нас не выдадут черные кони,
Вороних им уже не догнать.

На вокзале был народ. Проводить добровольцев на фронт пришли седовласые воины, кто ходил на битвы в Германскую, горделиво надев, Георгиевские кресты, кто воевал в Гражданскую, тоже с орденами. Были женщины-россиянки с детьми, строгие юноши.

Из Тулы отправлялся первый поезд в огненное пламя, в загадочную страну смерти! И как было не проводить Юную Знатность на дальнее Куликово поле? Исстари, из века в век, на Тульской земле зазывно, в скорбной тревоге трубили князьки кликуны в большие туры рога. И гордые витязи, надев шеломы, вооружившись мечами, луками и копьями, шли на требище помолиться своим языческим богам. Суровому богу Перуну, он был вырублен из дуба, с ликом воина, голову венчал шлем, на поясе меч и тул со стрелами, владычице земли Русской богине Берегине, стояла в венке из цветов, держала на вытянутых руках солнце. И остальным богам.

У святилища уже горели костры, ржали кони, ревели быки-жертвенники. В огненном свете восьми кострищ, под удары в бубен жрецов и волхвов, воины танцевали, молили богов даровать им победу. И дружиною, встав под знамена кня-

зя, уходили на битву, в просторы Дикого поля. Туляки бились за Русскую землю против печенегов хана Родмана, с ромеями Византии, с германскими рыцарями Карла Великого, с воинством литовского князя Ягайло, с крымским ханом Девлет-Гиреем, с ордами Чингисхана, с Наполеоном. И все века возвращались с победою. Тула радостно встречала воинов, что гордо шли по улицам под развернутыми знаменами земель Руси. С крепостных стен гремели барабаны, гудели цимбалы, пищали свирели.

Отовсюду праздником неслоь:

– Слава вам, воины Тулы! Слава, мужи Руси!

Шествие останавливалось на поляне за Кремлем, где уже горели костры, стояли волхвы. Ревел скот, для забоя и жертвенного приношения небесным богам, кто даровал на мече победу. Воины молились богам, держа щит у плеча. И шли на пир, к реке, где уже стояли столы с богатыми яствами, высились бочки с медом и пивом.

Играли гусли.

Воины, великорадостные, еще не остывшие от битв, еще слыша чародейскую силу, поднимали с князем и воеводами кубки с хмельным медом и наслаждались уютом родного края, молитвенно склоненными березками, сладостным пением разгульных волн. Пили гордо, воинственно пили за себя, что вернулись живыми с битвы, и по-рыцарски грустно за друзей, кому суждено было пасть от меча или копья. И навечно остаться в чужедальной стороне, в высоком братском

кургане.

Девушки водили хороводы.

Вскоре и воины, успокоив свою душу, свою совесть, мужественный ум, освободившись от траура, пускались в пляс. Танцевали разудало под гусли и гармонь, вели игрища. Им было чем гордиться! Своими мечами тульские воины принесли Руси великой жизнь и вечность.

II

Теперь, спустя века, на перроне Ряжского вокзала опять стояли гордые воины Руси великой, и опять высился до неба горестный и скорбный плач-стон россиянок.

Страдающе играла гармонь.

И слышалась горькая, надрывная песня девочки:

Эх вы, кони мои вороные,

Разудалые кони мои.

Ратникам из двадцатого века тоже выпала гордая и печальная доля защитить Русь православную, Русь великую от иноземного врага. На Русскую Землю, на землю-страдалицу, снова пришли те, кто уже топтал ее, жег, расстреливал из лука, забивал копьям, мечом, гнал в рабство — это воинственные потомки свирепого племени гуннов царя Аттилы. Это воинственные, безжалостные потомки готов, германско-

го короля Германариха, его внука, короля Амала Винитария, того самого, с кем отважно билось воинство Великого князя Руси

Буса Белояра, он же Боже Бус, кого в народе называли русским Христом. Воинство будет знать победы, но и поражения. В битве, бесконечно израненные, обессиленные, истекающие кровью, будут взяты в плен Великий князь и его верховное воинство. К шатру короля Амала Винитария были доставлены на колеснице. Король предложил пленникам жизнь, если они подпишут документ-договор, где Русь становилась государством-рабом древнего германца! Русичи с достоинством отвергли рабство! И все были распяты на кресте страдания Христа! Были распяты Великий князь Руси Бус Белояр, он же Божа, его сыновья, его братья, 70 русских князей и воевод.

Амал Винитарий будет убит стрелой князем Буримиром, кто был братом Буса Белояра. И кто возглавил русское воинство, изгнал древнего германца с Земли Русской, вернул Руси честь, достоинство и свободу.

И вернул саму Русь в бессмертие!

Теперь Александру Башкину выпала гордая и жертвенная честь, защитить Отечество, дарованное ему бессмертными предками, о ком рассказывал дед Михаил Вдовин.

Просто даже интересно, как совпало: ему придется биться с предками готов, кто пришел изничтожить Русь, казнил его любимого героя Великого князя Руси Буса Белояра, кого в

народе назвали русским Христом, кого повеличал в разговоре дед-мудрец от Сократа Михаил Захарович, биться с теми, лицом к лицу, кто заново пришел уничтожить Русь, сжечь ее, истоптать, расстрелять стрелами, а народ обратить в раба!

История повторяется, один к одному!

Как не испытывать гордость и радость, что счастье быть воином-защитником, счастье быть героем, любимая Русь доверила ему, сыну земли Русской! Он будет биться с германцем, как бились с германцами-готами его знатные предки за Русколань, где был Великим князем и королем Бус Белояр, кто остался в народе, как Боже, русский Христос!

Суждено ли им вернуться с поля битвы?

Кто знает? И в том ли суть? *Суть в том, что он в одной связке, в одной соборности с Русью древнею и Русью современною. Он воин Руси! Он воин Великого князя Буса Белояра!*

Не только Александр, но все, все, с кем он мчит в красной звездной тачанке на битву, не знают, — кому исповедально, в последнем прощании, горько и траурно прозвучит голубая звонница звезд неба и выпадет лечь в могилу, познать таинство смерти? Кому суждено остаться на празднике жизни, выпить чарку водки на пиру победы, по-русски разудало, подбоченясь, позванивая золотом наград, станцевать под гармонь на деревенской вечерке кадриль, обнять любимую девушку, в сладком трепете коснуться ее губ, обнаженной груди? Кому? Кому?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.